



Абдулла Каххар

МИРАЖ

Роман

*Перевод с узбекского
В. Смирновой*

Ташкент
Издательство литературы и искусства
имени Гафура Гуляма
1987

Уз2
К 30

Каххар, Абдулла.
Мираж: Роман/Пер. с узб. В. Смирновой.—
Т.:Изд-во лит. и искусства, 1987.—208 с

В романе Абдуллы Каххара «Мираж» рассказывается о трагедии молодого человека, не нашедшего верного пути в жизни. Талантливый Санди оторван от кипучей жизни своих сверстников, полной творческих поисков, находок, проблем и их решений. Его талант, который не питается народной жизнью, постепенно чахнет, и Санди гибнет бесплодно.

Уз2

4702570200 — 1
К ————— 73 — 87
М 352 (04) — 87

© Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма, 1987 г
(оформление)



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Девушка только было робко взялась за дверную ручку, как от сильного толчка изнутри дверь распахнулась, больно ударив ее по ногам, заставив посторониться и пропустить выходящего юношу. Его можно было принять за студента. Увидев, кого он чуть не сшиб с ног, юноша смутился, стал извиняться. Взглянув еще раз на девушку, медленно отошел и направился к выходу. Девушка тихо притворила открытую дверь, постояла, следя за удалявшимся юношей, потом нерешительно пошла за ним.

— Товарищ,— сказала она, догнав его у лестницы на первый этаж,— вы не знаете Сайфи?..

Молодой человек оглянулся, почему-то торопливо сложил и спрятал в карман бумаги, которые держал в руках, и ответил с готовностью:

— Это я!

Он был поражен: «Красавица, так хорошо одета, откуда-то знает мое имя и говорит так робко, умоляющим голосом...»

— Я была в бюро консультаций...— начала было девушка, но, взглянув в лицо юноши, еще раз спросила — точно ли перед ней Сайфи.

Юноша смешался.

— Простите, мне послышалось, что вы сказали «Саиди». — И он опять зачем-то вынул из кармана свои бумаги.

Видно, этой девушке зайти в приемную комиссию и узнать свою судьбу не легче, чем женщине, только что снявшей паранджу, пройти по людной улице, не споткнувшись и не краснея. Она подумала вначале, что юноша работает здесь, но, поняв, что ошиблась, смутилась, оглянулась, словно почувствовав за спиной кого-то, кто упрекнул ее: «Ишь ты — увидела красивого парня и уже растаяла».

Саиди только что сам потерпел неудачу и это словно перекинуло между ними мостик, хотя они видели друг друга впервые и ничего не знали один о другом. Девушка надеялась, что Саиди поможет ей, но молчала, а Саиди, хоть и не мог понять, чего именно она ждет от него, готов был, кажется, положить к ее ногам все, что она пожелает, и в придачу весь мир. Но вместо этого стал вдруг говорить о трудностях, какие ждут каждого в приемной комиссии. Девушка воспринимала его слова как приговор себе. Если она и раньше колебалась, входить ли в заветную дверь, то теперь, слушая Саиди, окончательно решила — не входить. Напрасно Саиди, пытаясь исправить дело, уверял ее, что для девушек существуют льготы. Она, закусив губку, разочарованно качала головой. И если несколько минут назад разговор с Саиди имел для нее какой-то смысл, то теперь, когда она решила не входить, его уверения, да и сам Саиди, потеряли для нее всякий интерес.

А Саиди, только что считавший, что учиться не будет, теперь вдруг переменял свое решение. Им овладело страстное желание во что бы то ни стало поступить в университет. Удивительное дело, каждое слово, каждый жест этой девушки звали его к действию — он готов был на все, лишь бы иметь право советовать и сочувствовать ей, быть с ней рядом. И он еще и еще раз рассказывал ей о льготах и преимуществах, убеждал ничего не бояться.

В конце концов девушка, поддавшись его уговорам, направилась к заветной двери, но, дойдя до порога, остановилась и обернулась к Саиди.

— Войти, что ли? Но вы не уходите пока...

Эти слова вырвались у нее нечаянно, и она, словно испугавшись их, поспешно переступила порог.

Заложив руки за спину, юноша ходил взад и вперед у двери. В голове его все перемешалось. Он видел перед собой эту девушку, слышал ее нежный голос. Странная мечта явилась у него: «Если бы с ней случилось какое-нибудь несчастье и я стал бы ее спасителем!...»

Но вместо этого неожиданно открылась дверь.

— Ой, как мне совестно... Я вас заставила ждать... — Слова девушки вернули его к реальности. — У меня с собой только анкета и заявление, а, оказывается, нужны еще всякие справки... Я заставила вас ждать...

Неудача девушки произвела на Саиди большее впечатление, чем на нее самое. Только что казавшаяся такой близкой, она теперь отдалилась от него на миллионы

верст. Эти приветливые, ласковые улыбающиеся глаза остались где-то там, далеко, в мечтах.

Девушка же оправилась от пережитого волнения, только когда они уже вышли из зала. Рядом с ней шел стройный, красивый парень, в каждом движении которого чувствовались сила, энергия... Ей стало неловко, она оглянулась, будто боялась, что ее увидят, но не отставала от юноши ни на шаг, словно их связывало какое-то важное дело. Взгляды их неожиданно встретились, она опустила глаза и покраснела.

— Сами же говорят, что народ жаждет знаний, а почему-то делят всех на трудящихся и нетрудящихся... чтоб им пропасть! — заговорила она.

— Я и вчера тут был... Слышал — какой-то профессор спорил с секретарем партиячейки, он тоже говорил, как вы: «Сами говорите, что надо всех учить, и сами же ограничиваете».

Вестибюль первого этажа был похож на вокзал: теснота, шум, духота. Но поток людей стремился не наружу — на воздух, а в глубину зала, к доскам объявлений. Даже в голодные годы, когда выдавали бесплатный хлеб, не было такой толкучки.

Девушка посмотрела вокруг, скривила губки.

— И это называется университет... Насмешка просто.

Саиди вежливо усмехнулся и пояснил:

— Здесь ведь рабфак. Эти люди пришли на рабфак. Сейчас на рабфаке учится молодежь двадцати девяти национальностей. Я видел диаграмму.

Они вышли из университета. Широкая кирпичная лестница, берег протекавшего рядом арыка, университетский садик — все было полно людей, нестро от цветных одежд. На ветвях деревьев висели мешки, торбы, узлы. Люди сидели и лежали на ступеньках, под деревьями, на траве, одни смотрели весело, другие хмурились, третьи — внешне безучастно ждали решения своей судьбы.

— Так что же — вы, значит, решили не поступать в университет? — спросил Саиди, когда они прошли через сад и подошли к автобусной остановке.

— А вы? — сказала девушка, взглянув на него искоса.

— Я обязательно буду учиться, — ответил Саиди и нарочно, желая задеть самолюбие девушки, добавил: — Вы-то, наверное, согласились бы слушать лекции даже через дверную щелку?..

Девушка резко вскинула голову.

— Я? Я буду сидеть в первом ряду на лекциях.

Она попрощалась и вошла в автобус, но вдруг оглянулась и посмотрела на Саиди, как будто хотела что-то сказать. А Саиди стоял неподвижно, как статуя, и глядел ей вслед, пока автобус не скрылся с глаз. Тогда он снял тубетейку и почесал затылок в полной растерянности.

II

Вернувшись домой, Саиди застал своего друга и соседа по комнате Эхсана за книгой.

Саиди разделся и тяжело опустился на деревянную кровать, стоявшую в глубине комнаты. Эхсан, мельком взглянув на него, встал, налил в пиалу чаю из стоявшего на столе закопченного чайника и подошел к кровати. Саиди сидел, согнувшись и опустив руки, как путник, уставший после долгой дороги.

— Ну, Саиди, потомок пророка, борец за веру,— сказал Эхсан, хлопнув Саиди по спине,— рассказывайте, что случилось? Неужели так плохи дела?

Саиди не ответил, сидел, уставясь в угол комнаты, словно рядом с ним никого не было. Эхсан замолчал и вновь взялся за книгу. Наконец, через какое-то время, Саиди произнес: «Интересно!» — и посмотрел на Эхсана.

— Помните то время, когда мы с сумками через плечо ходили в школу Урфан?

Эхсан поднял глаза от книги. Перед ним тоже вдруг встало детство, о котором напомнил Саиди; в ушах вновь зазвучали слова их любимой песни:

Как прекрасны горы в Туркестане...

Они дружили тогда с Саиди, и эта мальчишеская дружба сблизила и их отцов. Отправляясь каждый вечер, чтобы заправить и зажечь уличные фонари, отец Эхсана обязательно навещался к отцу Саиди справиться о здоровье, просто отдохнуть, а если нужна была помощь в кузнице, то и помочь. Отец Саиди был великим мечтателем. Он задумал создать механизированную кузницу, увлек своей идеей окрестных кузнецов, собрал нужные деньги, но предприятие не удалось, только зря пропал капитал, и с горя отец Саиди повесился. А отец Эхсана погиб позже в борьбе с басмачами. После его смерти Эхсану пришлось оставить школу.

— Мы были тогда детьми,— сказал Саиди, сощурившись, будто глядя вдаль,— но мы всегда понимали друг друга. Боюсь, что нынче не так...

— Ладно, оставим это, — прервал его Эхсан, дружески хлопнув по колену, — сначала скажите, как дела? Приняты вы или нет?

Саиди махнул рукой: «Потом, потом», — и растянулся на кровати.

Эхсан пожал плечами и, отойдя к столу, снова взялся за книгу.

— Удивительная у вас черта, — раздраженно сказал Саиди, как капризный больной, которому в чем-то отказали, — вы не любите разговаривать о том, что было. Если вам случится путешествовать по всему свету, пережить приключения, каких хватило бы на тысячу человек, все равно, вернувшись, вы ничего не расскажете, как будто все позабыли, и как всегда уткнетесь в книжку.

Эхсан посмотрел на него.

— Саиди, вы окончили и начальную и среднюю школу. А я — отсталый человек, я должен думать о будущем... Объясните-ка лучше, что с вами?

— Эхсан, когда вы думаете жениться и на ком?

— Женюсь, когда стану врачом. А на ком... пока еще не знаю. Во всяком случае, мне нравятся женщины стройные, невысокого роста...

— Ну вот, я же говорил, что вам недоступны человеческие переживания. Если бы вы когда-нибудь испытали хоть тысячную долю того волнения, какое я сейчас переживаю, тогда я не боялся бы, что вы меня не поймете. Я — человек неверующий, но если бы верил, честно говоря, сегодня отрекся бы от религии за одно то, что она учит, будто люди все созданы из глины...

— Уж не влюбились ли вы?

— Если бы только влюбился!..

С улицы послышался голос Павла Шафрина, друга Эхсана. Он с кем-то оживленно разговаривал. Саиди с болезненной гримасой уткнулся головой в подушку. Он вообще недолгивал Шафрина и сейчас меньше чем когда-либо хотел его видеть.

Но раньше Шафрина в комнату вошел Шариф, тоже близкий друг Эхсана, один из тех, кого Саиди называл «неудобоваримыми». Поздоровавшись с Эхсаном, Шариф сморщил нос и оглядел комнату.

— Какая вонь у тебя в комнате! Ты что, ее не проветриваешь никогда?

С газетой в руке вошел Шафрин, бросился обнимать Эхсана и, сграбастав его, закружил по комнате, крича:

— Есть два места на медицинский факультет Московского университета, одно из них — должно быть твоим!

Пока Эхсан читал объявление в газете, Шафрин подошел к Саиди. Тот нехотя открыл глаза и, отвернувшись, пробормотал что-то. Шафрин подумал, что он болен, потрогал ему лоб.

— Вы нездоровы? Вот было бы здорово, если б и вы поехали в Москву и поступили на литературный факультет.

Саиди поднял голову и сделал вид, что только сейчас разглядел Шарифа.

— А, это вы,— сказал он и встал, протирая глаза.

— Условия мне подходят! — закричал Эхсан, радуясь так, словно уже все было решено.— Слышишь, Шариф, это мне подходит.

— Я знаю.

— А если знаешь, так сделай так, чтобы у меня была рекомендация от райкома комсомола.

И, схватив чайник, Эхсан побежал за чаем.

А разговор с Саиди так и остался незаконченным, потому что гости, по-видимому, не собирались скоро уходить.

III

Та девушка исчезла, как жемчужина, упавшая на дно моря. Саиди не знал, у кого спросить о ней, где искать. И он снова и снова ходил в университет в надежде на встречу, не имея ни малейшего представления, о чем он станет с ней говорить.

Однажды по дороге в университет его остановила женщина в парандже. Это была его сестра. Отведя Саиди в сторонку, она чуть откинула с лица сетку, поздоровалась и заплакала.

— Братец Рахимджан, милый... Почему не зайдешь никогда? Хоть бы пришел, когда мужа нет дома... Ведь нас только двое родных и осталось... Кто еще у нас есть на свете?..

Саиди успокоил ее, пообещав зайти на днях, твердо уверенный, что не сделает этого.

Совсем недавно он жил в доме зятя, учительствовал и зарабатывал много денег. Эти деньги и были причиной того, что зять-торговец относился к нему не просто как к постоянному клиенту, но как к оптовому покупателю. Лучшая еда предназначалась для Саиди, без него не откупоривалась ни одна бутылка вина. И каждое слово его

превозносилось до небес. Но Саиди опротивела сладкая жизнь и выпивка, да и Эхсан, старый друг, уговаривал учиться дальше.

Как только Мухаммедраджаб узнал о намерениях Саиди, спокойной жизни пришел конец. Сначала, правда, зять молчал и пытался подействовать через жену. Он обещал женить Саиди на богатой, сделать его хозяином благоустроенного дома. Сестра расхваливала ему будущую жизнь. Были минуты, когда он готов был поддаться этим уговорам и отказаться от своего решения, но стоило ему встретиться с Эхсаном, все эти соблазны лопались, как мыльные пузыри, и жизнь, которую сулили сестра и ее муж, уже не казалась ему привлекательной. Кончилось все тем, что он ушел из дома сестры. Вот тогда-то зять и пригрозил жене: «Если твой брат войдет в мой дом, я разведусь с тобой».

В это время Мухаммедраджабу назначили большой налог на его лавку. Обычно в затруднительных случаях он прибегал к помощи Саиди, а теперь, без его поддержки, растерялся и едва не погорел. Пришлось продать товар, хранившийся на складе, чтобы уплатить налог. Нужны были несколько тысяч рублей и время, чтобы возместить убытки. Через жену Мухаммедраджаб пытался наладить прежние отношения с Саиди — не удалось, последняя надежда поправить дела окончательно рухнула. Тогда он пустился на хитрость: закрыл свою большую лавку, сдал патент и открыл малюсенькую лавчонку самой низкой категории. В этой лавчонке он выставлял только образцы товаров, чтобы можно было думать, что он торгует случайными вещами и еле-еле сводит концы с концами. Это выручало, но прежних доходов уже не было. Мухаммедраджаб стал обвинять во всех своих бедах Саиди. Жаловался всем и каждому, что он не помог сестре, не хочет работать, распутничает.

Репутация Саиди среди друзей и знакомых была подорвана. Те, кто раньше кланялись при встрече, теперь проходили мимо, как будто не замечали его. У Саиди остался единственный друг — Эхсан. Правда, когда он поселился вместе с Эхсаном, появились и новые знакомые, вроде Шарифа, но с ними Саиди не сумел сблизиться и часто в этом новом окружении чувствовал себя чужим. А тут еще отъезд Эхсана в Москву.

— Рахимджан! — говорил Эхсан, обвязывая проволокой свой сундучок. — Молодость — быстробегущая вода, не успеете полить все свои посевы, она так и утечет зря. А потом уж что проку в стариковских очках рыть колодец

иглой. Шафрин хороший парень. Вы его не любите, это несправедливо. Его ценить надо, он готов душу отдать за нас с вами. Вы мне так и не сказали, почему вы не попали в университет. Если вам знаний не хватает, Шафрин всегда поможет. Он на втором курсе, он много знает. Вы напрасно сторонитесь людей. Избегаете даже такого прямого доброжелательного парня, как Шариф.

— Он большой человек. А я кто?..

— И он комсомолец, и вы комсомолец. Нет, это у вас просто плохая привычка — сторониться людей, и вы только ищете предлог...

Но разговор этот так и не закончился. Эхсан суетился и спешил, как ребенок, который долго жил в чужом краю и только теперь возвращался к родной матери.

Провожать Эхсана на вокзал пришло много друзей. Саиди чувствовал себя среди них одиноким. Единственный человек, с которым ему хотелось бы поговорить, был Эхсан, но он словно растворился среди своих друзей, и Саиди до самого отхода поезда томился в стороне. Когда поезд отошел и все пошли с платформы, Саиди сумел тут же ускользнуть от провожающих.

Но вечером к нему пришел Шафрин. Очевидно, он хотел развлечь оставшегося в одиночестве Саиди. Саиди встретил его неприязненно.

— Ну как, Рахимджан, скучно без Эхсана? — сказал Шафрин. — В доме становится пусто, когда его покидает друг.

Шафрину и в голову не приходило, что Саиди его не любит, и, если случалось, тот дерзил ему, он не обращал внимания на это, считал, что у Саиди такой характер.

Видя, что Саиди кривится, как от сильной боли, Шафрин подумал, что он и вправду болен.

— Жара нет?

— Колет в боку, — сказал Саиди с гримасой, — чуть пошевеливнись — больно.

Шафрин забеспокоился, сказал, что надо вызвать врача.

Саиди перебил его поспешно:

— Я уже был у врача. Он прописал мне лекарство. Я только что принял его.

Наступило молчание. Саиди лежал, закрыв глаза, и думал про себя: «Есть же назойливые люди. Видишь ведь, что ты здесь не нужен, встань и уйди». Шафрин посидел молча, глядя на лежащего Саиди, и, решив, что ему лучше, тихонько ушел.

Шафрин теперь заходил к нему часто. Но каждый раз оказывалось, что Саиди должен куда-то идти по срочному делу, или он сидел за книгой, еле отвечая на вопросы. Постепенно связь между ними, которую так старался укрепить и продолжить Эхсан, стала ослабевать, и Саиди нетерпеливо добивался полного разрыва. Шафрин все реже и реже навещался к нему и очень ненадолго. А через две недели Саиди уехал в центр хлопотать о поступлении в университет. Он считал это первым шагом, чтобы найти ту девушку.

IV

Саиди поступил в университет — и тут же нашел свою утерянную жемчужину — Мунисхон. Он добился своего, с помощью друзей победил тех, кто пробивался в университет. Правда, его не хотели зачислить на стипендию. И опять ему пришлось добывать разрешение в центре.

В университете многое не понравилось Саиди. Среди студентов его группы были, правда, одаренные люди, но были и такие, что казались ему грубыми, бесталанными, их хоть тысячу лет учи, думал он, толку не будет. Глядя на них, Саиди возмущался: «И это студенты? Неужели организации, пославшие их учиться, надеются, что труды и средства, затраченные на них, не пропадут даром!»

И действительно, некоторые из этих студентов сильно отставали в учебе. Партийная и комсомольская ячейки старались им помочь, прикрепляли к ним успевающих студентов. Но однажды на лекции седой профессор, болезненный, бледный, с отвислыми щеками, высказал прямо то, о чем думал и не решался сказать Саиди:

— Вы не доросли до университета, — сказал он парню, которого Саиди про себя называл «пнем». — Езжайте-ка в свой кишлак и машите там кетменем!..

Кто-то попытался было возразить, но профессор резко оборвал его:

— Это наука. Ее нельзя упростить декретами!

Возражавший умолк. Саиди торжествовал, впервые в университете он почувствовал себя свободно, будто сбросил с ног тесную обувь. Сердитый профессор понравился ему.

Однако ячейка делала свое дело. Саиди, как комсомолец, прикрепил к рабфаковцу — здоровенному грубоватому человеку, бывшему шахтеру. Отказаться Саиди не посмел, но про себя обозлился.

Между тем инцидент между профессором и «пнем»

стал известен всему университету. Споры по этому поводу то вспыхивали, как пламя, то затухали, кем-то умело погашенные. Но все ждали взрыва, словно огонь бежал по подожженному шнуру. И этот взрыв прогремел так, что его услышала вся общественность города.

В это время шла подготовка к республиканской конференции пролетарских студентов, на всех факультетах выбирали делегатов, вручали им наказания. Случай с профессором попал в газеты, о нем говорили на конференции. Дело приняло широкий оборот, и профессор был изгнан из университета.

Перепуганный Саиди уже не говорил больше о способных и неспособных студентах даже с разделявшей его мнение Мунисхон.

Отношения между Саиди и Мунисхон с самого начала учебного года оставались просто товарищескими. На лекциях они сидели рядом. Когда лекция заканчивалась, Саиди ждал, пока Мунисхон встанет и пойдет к двери. Иногда, правда, так делала и Мунисхон, только ни за что не призналась бы в этом. А выйдя из университета, они тотчас расставались, даже если им было по пути. Но, разойдясь, уходили медленно, словно забыли сказать друг другу что-то важное.

Однажды, когда после лекции они вышли на улицу, пошел сильный дождь. Мунисхон хоть и подняла воротник пальто, но остановилась, не решаясь идти под дождем. Остановился и Саиди. Глядя на опустившую глаза Мунисхон, он любовался ее черными ресницами. Вдруг она подняла голову, и взгляды их встретились. Саиди не успел отвернуться, смутился и покраснел, будто провинился в чем-то.

— Дождь... — промолвил он.

Сам не знал, зачем он сказал о дожде. Хорошо, что Мунисхон пришла ему на помощь.

— В дождь хорошо сидеть дома и мирно беседовать, а когда ветер — спать...

Саиди кивнул, соглашаясь. Дождь, правда, начал стихать, а в арычке у входа бурлила мутная вода. Мунисхон осторожно перешла мостик, но, ступив на тротуар, поскользнулась и упала бы, если бы Саиди не подхватил ее. Мунисхон, затаив дыхание от страха, посмотрела в лицо Саиди, как будто не понимала, что он просто спас ее от падения. Саиди же, сам не заметивший, что обнял ее, разжал руки и извинился.

В этот день они ушли из университета вдвоем, и с тех пор словно преодолели что-то, мешавшее их сближению.

Теперь они стали появляться вдвоем в аудиториях, в библиотеке, на улице. Мунисхон все труднее давались занятия, и она все больше нуждалась в помощи Саиди. Саиди был подготовлен лучше ее и всеми силами старался ей помочь, объяснить непонятное, просто ободрить. Он отдавал ей время и терпение, сэкономленные на занятиях с шахтером, и делал это с удовольствием.

— Вы так хорошо объясняете, что я сразу все понимаю,— говорила Мунисхон.— Никто так не умеет объяснять, как вы...

Когда подошло время зимних экзаменов, понадобилось и вечерами заниматься на факультете. Мунисхон ни разу не пропустила этих вечерних занятий, в душе побаиваясь, что Саиди может не прийти, что ему в тягость такая двойная нагрузка. Но Саиди не отказался бы от этих встреч, даже если бы пришлось пойти на большие жертвы. Однажды занятия их затянулись до полуночи, и Саиди пошел проводить Мунисхон домой. Они шли по пустынной улице. Вдруг громадная собака, грызшая у ворот кость, с рычанием бросилась на них. Испуганная Мунисхон схватила Саиди за руку и крепко прижалась к нему. Все в мире перестало существовать для Саиди — только одна Мунисхон. Никогда еще она не стояла так близко к нему, как теперь. Правда, она очутилась уже однажды в его объятиях, тогда, в дождь. Но это была просто случайность. А сейчас? Хоть она и испугалась собаки, но разве ухватилась бы так за руку кого-то другого! Собака, все так же рыча, скрылась в подворотне. Мунисхон засмеялась.

— Чтоб ей пропасть, она же сама нас боится.

Саиди опомнился, только пройдя несколько шагов.

— Если бы эта собака понимала что-нибудь, она привела бы целую стаю,— сказал Саиди.

— Ах, нет... Я боюсь собак,— сказала Мунисхон и, свернув в переулок, весело объявила: — А вот и наш дом...

— Если бы я был волшебником, я отодвинул бы ваш дом на тысячу верст.

— Почему?

— Так... Отодвинул бы и все.

— Вот вы какой... нехороший...— засмеялась Мунисхон, погрозив ему пальцем, и, быстро попрощавшись, исчезла в темноте.

V

Дни шли, казалось, мало чем отличаясь друг от друга. Но было в каждом из них и что-то свое, особое, всегда но-

вое, неожиданное. Это часы, которые Саиди проводил с Мунисхон за книгами. Перед экзаменами шахтер добровольно отказался от его помощи. И это страшно обрадовало обоих. Мунисхон захлопала в ладоши.

— Теперь старайтесь не попадаться на глаза начальству. Мой брат недаром говорит: «Если не будешь лезть на глаза, постарайся казаться неспособной к общественной работе, будешь помалкивать, тебя оставят в покое». Верно ведь? А у вас привычка: кто бы что ни спросил, вы всегда готовы ответить, как будто вы все знаете. Не делайте так. И хорошо бы нам заниматься не в университете, а в другом каком-то месте, подальше от чужих глаз, чтобы никто не мешал. Можно вообще-то и у нас дома, но очень уж беспокожно. К брату приходят друзья, а они такие любопытные, не дай бог...

По мнению Мунисхон, Саиди сильно отличался от других студентов и вообще от всех молодых людей, которых она знала. Он был тихий, спокойный, чуткий, понимающий настроение другого человека. Мунисхон считала свои отношения с ним товарищескими, и, хотя втайне думала, что это не очень естественно, хотела, чтобы все тоже так считали, и при случае старалась в этом уверить.

Когда наступила пора экзаменов, на факультете не осталось ни одного укромного местечка для их занятий. Поэтому вопрос о том, где заниматься, встал перед ними со всей остротой. Саиди сразу подумал о своей комнате — это было как раз то, что нужно, но он не смел пригласить Мунисхон, не надеясь, что она согласится переступить порог его скромного жилища. Однако, когда не было другого выхода и они оба стояли с книжками в руках, не зная, куда деться, Саиди ничего не оставалось, как предложить пойти к нему. Пока Мунисхон обдумывала это предложение, перебирая кончики своих кос, Саиди трепетал, как пламя свечи, колеблемое малейшим движением Мунисхон; скажи она сейчас «нет», и огонек угас бы навсегда. Но Мунисхон решила иначе.

— Это далеко? — спросила она, поглядев прямо в лицо Саиди.

Он только покачал головой, боясь выдать волнение. Мунисхон опять стала теревить свои косы. Овладев собой, Саиди сказал:

— Это напротив почты, в двадцати шагах от автобуса...

— Оказывается, у вас хорошая комната,— сказала Мунисхон, когда на завтра они пришли к Саиди.

— Я жил здесь вместе с товарищем, но когда он уехал, я совсем ее запустил...

Саиди не знал, что ему делать, как вести себя. «Нужно ли приготовить чай? Не обидится ли этот ангел небесный, если я предложу чай?» — спрашивал он себя. Конечно, комната была прибрана, все приготовлено к приходу Мунисхон, но вопрос о чае так и не был утрясен. И теперь Саиди нерешительно направился к керосинке, но Мунисхон, увидев это, поблагодарила и поспешила раскрыть книгу, которую он должен был читать. Читал он по-русски быстрее ее и не ошибался в ударениях.

Когда они только вошли и Мунисхон смотрела на Саиди, вешавшего пальто на вешалку, она испытала неведомое прежде чувство: то ли она спустилась с небес на землю, то ли этот здоровый, полный сил, все умеющий делать юноша поднялся с ней на небеса. А чем еще можно объяснить, что она согласилась прийти сюда?

Усевшись подальше от Мунисхон, Саиди принялся читать. Мунисхон слушала его, иногда прерывая, просила повторить. Книга была трудная, язык тяжелый, фразы длинные-предлинные. Саиди приходилось по нескольку раз повторять одно и то же, объяснять непонятное. Они даже позабыли сделать, как обычно, пятнадцатиминутную передышку после часа чтения. А на исходе второго часа Саиди так устал, что начал запинаться. Он отложил книгу и протер глаза. Мунисхон перелистала оставшиеся страницы и сказала, что часа полтора еще почитать — и книга будет окончена, и тогда можно будет отдохнуть не пятнадцать минут, а полчаса. Саиди, который уже встал и подошел к окну, чтобы отдышаться, молча сел опять и взялся за книгу. Тут Мунисхон стало неловко, и она вызвалась читать сама. Читала она сносно, если не считать нескольких слов, которые никак не могла произнести. Одно такое слово заставило ее призвать на помощь Саиди. Но, смутившись, она потеряла это слово на странице.

— Пойдите, пойдите, да вот же оно,— сказал Саиди, взяв ее за руку, как будто это рука была виновата, что девушка потеряла строку.

Мунисхон не отняла руки, но взглянула прямо в глаза Саиди. Тот сделал вид, что глубоко задумался над смыслом только что утерянного слова, на самом же деле он даже не видел книгу, лежавшую перед ними.

— Ну, ладно, оставим это,— сказала Мунисхон, осво-

бождая руку и снова принимаясь за чтение так, будто решила никогда больше не обращаться ни к кому за помощью.

Саиди вернулся на свое место и сделал вид, что слушает, хотя ничего не слышал.

— «Таким образом, Маркс открыл закон развития человеческого общества», — прочитала Муниسخон последнюю строчку и, отложив книгу, посмотрела на Саиди. — Сомневаюсь, что вы что-нибудь из этого усвоили!

— Нет, нет, почему же, — поспешил уверить ее Саиди. — Я слушал очень внимательно. Мне кажется, последние абзацы написаны намного проще...

— А ну-ка, расскажите, что сделал Маркс?

А Саиди даже не слышал, что она упоминала Маркса. Он потянулся за книгой, но Муниسخон не дала ему ее и потребовала, чтобы он пересказал прочитанное. На лбу у Саиди выступил пот. Не найдя в кармане платка, юноша встал и принялся ходить по комнате. А она, переписывая в тетрадку нужные цитаты из книги, говорила с насмешкой:

— Осторожно — не наткнитесь на что-нибудь! Вот что значит долго читать без передышки — в глазах мутится... — Было ясно, что она поняла его состояние.

С тех пор появление Муниسخон в комнате Саиди стало привычным.

VI

Зимние каникулы принесли Саиди неожиданное огорчение. Муниسخон больше не приходила к нему, а сам навестить ее он не решался, боясь поставить в неловкое положение.

Как-то заглянув в книжный магазин, Саиди встретил своего школьного товарища Джамала Карими. Тот растолстел, раздобыл, был с иголки одет и важно, как хозяин, расхаживал по магазину. Саиди даже не решился первым подойти к нему и поздоровался только после того, как тот узнал его и протянул руку.

— Гм... — произнес Джамал Карими, играя толстой тростью с серебряными украшениями, — так вы говорите — учитесь? И скоро станете ученым?

Саиди рядом с ним чувствовал себя маленьким и ничтожным.

А где вы сейчас работаете? — робко поинтересовался он.

— У меня нет одного определенного места. Сами знае-

те, сейчас талантливые люди нарасхват. На тебя взваливают множество различных нагрузок. Я веду литературный отдел в газете. Преподаю литературу в техникуме. Новый журнал начал выходить — так меня ввели в редколлегию. Ничего не поделаешь — отказаться нельзя. А свои творческие дела заброшены.

Саиди и не знал, что Карими пишет.

— Вы не подписываетесь своим именем?

— Мой псевдоним — «Ульфат» теперь становится и моим именем. Да никто меня иначе и не зовет, как Ульфат.

Саиди читал стихи Ульфата, но никак не думал, что это Джамал Карими.

— В четверг в пять часов в Доме просвещения состоится интересное собрание, — сказал Ульфат, прощаясь с Саиди. — Приходите, услышите кое-что любопытное. Будем разбирать стихи новых поэтов, обсуждать вопросы воспитания молодых писателей. Вы ведь когда-то в школе интересовались литературой...

Саиди и вправду в школьные годы писал стихи, они печатались в стенгазете, а некоторые даже были положены на музыку и исполнялись на школьных вечерах.

Вернувшись домой, Саиди перерыл скопившиеся у него журналы, нашел стихи Ульфата и внимательно прочел их. Честно говоря, они ему не понравились, но назвать их плохими он бы не решился. В каком-то странном состоянии он сел за стол и сам написал стихи.

В четверг вечером, направляясь в зал Дома просвещения, Саиди не ожидал увидеть здесь такое скопление народа. Тут были и солидные люди, очевидно, учителя, но больше всего учащейся молодежи. Саиди сразу же увидел Джамала Карими: легко поигрывая тростью, он что-то доказывал соседу. Внимание Саиди привлек оратор — непомерно толстый, с большим животом мужчина. Он узнал его — это был его воспитатель по средней школе, теперь с успехом подвизавшийся в литературе критик Аббасхан.

— Когда мы, люди искусства, — говорил между тем критик, — смотрим на картину, изображающую обнаженную женщину, мы восхищаемся не самой женщиной, а мастерством, с которым она изображена. То же и в поэзии. Вот вы сами признали, что стихи этого поэта написаны с большим искусством. Значит, можно ими наслаждаться, не думая о содержании. Если вы сами идеологически здоровы, этого вполне достаточно!

Когда он закончил, из середины зала слова попросил широкоплечий смуглый парень. Председательствующий почему-то воздерживался. Зал зашумел. Молодежь требовала, чтобы парню дали слово. Тут на трибуну поднялся один из сидевших в первом ряду, он пообещал уладить все разногласия. Сначала он говорил мирно, а потом набросился на парня, которому не давали слова.

— Настоящему поэту не обидно, когда его критикует человек, равный ему по таланту, по положению в литературе. А вы, срифмовав несколько строчек, претендуете на звание поэта да еще смеете критиковать других! Получились бы сначала, набрались ума-разума!

Зал снова зашумел. Председатель охрип, стараясь успокоить аудиторию.

Саиди сделал для себя вывод: если у человека есть склонность к какому-либо искусству, даже способности, этого еще недостаточно, чтобы он считал себя представителем этого вида искусства. Для настоящего расцвета таланта необходимо несколько капель неведомого эликсира. И эликсир этот сейчас в руках Аббасхана.

Собрание закончилось, люди стали расходиться, продолжая доказывать, спорить, пытаясь в последний момент что-то объяснить друг другу. Саиди оставался на своем месте. Джамал Карими прошел мимо, небрежно, лишь глазами отвечая на приветствия. Аббасхан сел к столу президиума. Его окружили хорошо одетые, самоуверенные молодые люди. Другие, несколько скромнее, оставались поодаль, глядя жадно, как смотрят голодные на тех, кто обедает. Вновь появившийся Джамал Карими протянул Саиди пачку папирос. Аббасхан держался как крупный торговец, у которого много товара, и он может отпустить его по более низкой цене тому, кто ему понравится. Окружавшие же всеми силами стараются угодить, чтобы купить товар подешевле, повыгоднее для себя. На лицах присутствующих написано: все, что говорит Аббасхан, все правильно, все умно: если он засмеется, смеются все, каждый старается засмеяться погромче, даже если ему совсем не смешно.

Саиди пожалел, что пришел.

VII

Назавтра, когда Саиди, без пальто, в одном пиджаке, выбежал в чайхану за кипятком, он увидел Мунисхон у дверей почты. Она стояла, пр держивая поднятый во-

ротник своего черного плюшевого пальто, и как будто кого-то ждала.

— Ой, — сказала Мунисхон, протягивая ему руку, — вас можно поздравить с вступлением в литературные круги...

— А-а, это я так, от нечего делать... Решил посмотреть, что там и как. А вы что тут стоите?

— Пришла на почту, а тут перерыв. Целый час ждать... Стояла и думала: уходить или остаться.

— Пойдемте ко мне... а ваше письмо я отправлю сам.

Склонив набок головку, Мунисхон будто раздумывала, как истолковать это приглашение. Но когда Саиди его повторил, она нерешительно пошла за ним.

В комнате Саиди она устроилась на своем обычном месте и принялась рассматривать лежавшие на столе журналы.

— Вы видели последний номер этого журнала?

Саиди испугался, что она увидит лежащие тут же новые стихи, и поскорее отодвинул исписанные листы и придавил книгой. Но Мунисхон этого не заметила, она рассказывала о том, как провела каникулы, какие прочла романы, называла имена всех узбекских поэтов и каждому давала оценку.

— Джамал Карими прочел мне недавно свое новое стихотворение, — оно мне очень понравилось.

Эти слова хлестнули Саиди, как плеткой, он готов был заплакать с досады, как ребенок.

— Вы знакомы с Джамалом Карими?

— Да, — сказала Мунисхон, всем своим видом желая показать, что подобные знакомства для нее ничего не значит, — он у нас часто бывает. Очень веселый, покладистый, общительный парень... Приятель моего брата. У него и псевдоним «Ульфат» — «приятель».

Мунисхон взглянула на свои золотые часики и поднялась, Саиди пошел ее проводить. Он был словно пьяный, он не помнил, как с ней расстался. Ревность, вызванная словами Мунисхон о Джамале Карими, не давала покоя, и, пытаясь как-то притушить ее, он до рассвета исправлял написанные недавно стихи. Наутро он послал их в редакцию журнала.

VIII

— Давайте теперь заниматься у нас... Брат уехал в командировку... — сказала Мунисхон в один из мартовских дней.

Саиди так растерялся, что даже не мог сразу ответить

на это приглашение. «У нас»! Он представить себе не мог, что дом, в котором жила эта девушка, построен человеческими руками! Правда, не раз, провожая ее по вечерам, он видел, что она входила в обыкновенные старые ворота, а если они были заперты, стучала обыкновенной цепочкой, и стук этот был похож на обычный стук дверной цепочки. Но что там дальше, за этими обыкновенными воротами с такой обыкновенной цепочкой, Саиди не мог вообразить. Все растворялось в каком-то тумане. Какие тайны крылись там, что делала Мунисхон, входя в этот туман, — летела ли на крыльях, которые вырастали у нее за плечами, или уносились на волшебном коне?..

Когда Саиди вечером пришел в этот дом, кто-то встретил его у ворот и провел по проходу вправо — прямо к кирпичному дому в восточном стиле. Из двух огромных окон сквозь прозрачные занавеси лился приятный зеленый свет, слышались приглушенные звуки рояля. Они смолкли, когда Саиди вошел в переднюю, открылась дверь из комнаты, и послышался голос Мунисхон:

— Кто это? Рахимджан? Ой, как же долго вы заставляете себя ждать!..

Как молодая жена, которая хочет угодить мужу, поделиться среди старых жен, Мунисхон проворно взяла у Саиди пальто, повесила на вешалку и почтительно ввела гостя в комнату. Миновав двери, завешанные тяжелыми, но мягкими портьерами, Саиди очутился в комнате, освещенной электрической лампой под зеленым абажуром. Мунисхон была в легком платье, две длинные толстые косы были венком обвиты вокруг белой тубетейки. Усадив Саиди в обтянутое бархатом кресло, она присела было сама, но тотчас вскочила, потушила зеленую лампу, зажгла другую под потолком в люстре. Комната понравилась Саиди, но при зеленом свете ему было уютнее, и Мунисхон казалась ближе. А когда девушка внесла целую стопку книг, очарование уюта и близости исчезло окончательно; начались обычные занятия.

— Почему-то все, что вы сегодня читаете, отскакивает от меня, — призналась Мунисхон после трех часов работы.

Саиди оборвал недочитанную фразу, отодвинул книгу и с наслаждением потянулся, потом, откинувшись на широкую спинку кресла, посмотрел на потолок, расписанный цветами и фруктами.

— Когда так утомишься, хорошо послушать музыку...

— Вы любите музыку? — живо спросила Мунисхон, словно проснувшись. — Но на рояле наши мелодии не всегда хорошо получаются... Сейчас я вам что-то сыграю.

Это старинная военная музыка... Ее играли, когда арабы завоевывали Ундулис. Она так возбуждает, что, кажется, услышав ее, и мертвый бросится в бой... Слушайте, Рахимджан... Меня научил играть ее один турецкий офицер. Он и сам был сильным, полным энергии человеком... Я потом покажу вам его портрет.

Пальцы Мунисхон забегали по клавишам рояля, и Саиди словно увидел перед собой огненных арабских скакунов, услышал голоса людей, звон копий, ударяющих о щиты, шум битвы.

Потом Мунисхон открыла один из шкафов, достала с верхней полки пачку фотографий. Отыскивая нужную, она одни фотографии показывала Саиди, другие тотчас опять прятала.

— Вот, — сказала она наконец, протягивая снимок, — этот человек научил меня играть арабскую мелодию. Обещал и еще научить, но уехал...

— Да это же Исхак-эффенди! — воскликнул Саиди. — Я его знаю. Он часто приходил к нам в школу. Очень интересный человек... Я до сих пор помню, что он говорил...

Мунисхон вдруг побледнела, нахмурилась, убрала фотографию.

— Может быть... Он был у нас раза два... Играл мне... Брат мой его не очень привечал. Я не знаю, куда он потом делся. Мы не интересовались. Мой брат Салимхан не любил его. Наверное, он вернулся в Турцию, куда же еще...

— Нет, он ушел к басмачам и погиб. В нашей школе было два турецких офицера — он к ним приходил.

В дверь постучали. Мунисхон вышла и привела молодого человека, солидного и важного на вид. Он спросил ее что-то о брате, она ответила:

— Не знаю, он еще не писал мне.

Молодой человек был слегка навеселе. Мунисхон представила его Саиди, он протянул руку, назвался: «Ильхам».

— Я бы посидел тут с вами, но меня ждут, — сказал он, — приехал один татарский поэт.

— Пригласите и его!

— Нет, он немного нездоров...

Проводив его, Мунисхон рассказала Саиди:

— Это поэт Ильхам... Работает в литературном журнале. Он пьян, поэтому я не стала его удерживать. Он хороший парень. Один из самых близких друзей брата. Я бы хотела вас с ним поближе познакомить.

Мунисхон умолкла, как будто пытаясь что-то вспомнить.

Саиди рассмеялся.

— Никак не решаетесь мне намекнуть, что пора уходить?

— Не-е-ет... Почему же... Ой, какой вы, право!.. Саиди поднялся.

IX

Зима, в свое время подбиравшаяся медленно, словно желая понемногу приучить людей к пронзительным ветрам и морозам, теперь отступала тоже не торопясь, осторожно заявляя о своем уходе. Первые зеленые листочки на деревьях шелестели под весенним легким ветром. Весело ворковали горлинки, гоняясь друг за дружкой по заборам и среди листвы. Небо было синее-синее. Легкие облачка словно спешили стереть оставшиеся бледные следы зимы.

Наступившая весна не дала Мунисхон задуматься ни о предстоящем лете, ни о тех чувствах, которые волновали ее в последнее время. Не хотелось думать об этом, разбираться, отдавать себе отчет в том, куда несет ее течение жизни. Сначала ей было неловко, непривычно появляться на людях рядом с Саиди. У нее было такое чувство, будто она в какой-то новой необычной одежде идет по городской улице, и все люди смотрят на нее — кто с удивлением, кто с насмешкой. Но за последние месяцы эта неловкость стала исчезать. Она даже не заметила, как это случилось, — как не заметила, что сняла тяжелую зимнюю одежду, оделась в легкие шелковые платья, развевавшиеся на весеннем ветре. И не только она сама, но и все кругом, казалось, примирились с их дружбой. Если, правда, не считать нескольких юношей, влюбленных в нее, которые ходили вокруг, как котята вокруг мяса в стеклянной банке, терзая себя и других тоскливым мяуканьем, — если не считать их, то никого особенно не интересовали их отношения.

Они, действительно, крепко подружились. Даже перешли на «ты». Саиди относился к ней очень бережно, готов был отдать ей все, ничего не требуя взамен. Мунисхон это понимала, считала, что между ними «только дружба, ничего серьезного, захочу — и в один миг расстанемся», но, несмотря на это, у нее портилось настроение, когда Саиди приветливо разговаривал с другими девушками.

Экзаменационная пора была в разгаре. Теперь они уходили заниматься за город — в сад рабочего поселка. Однажды Мунисхон стала жаловаться на людские сплетни.

— Удивительно,— говорила она, лежа на густой траве,— русские девушки и парни могут дружить, встречаться, как хотят, а если мы попробуем, как они,— сейчас же пойдут сплетни, начнутся насмешки, оскорбления...

Саиди положил книгу, тоже растянулся на траве и усталыми от долгого чтения глазами поглядел на протекавшую чуть пониже реку, блестящую под солнцем. Дальше за рекой вставал город, весь в зелени деревьев. Из высоких труб заводов и фабрик дым валил в голубое небо. Потом взгляд его поднялся к горным вершинам, откуда брала начало эта река. Не дождавшись ответа, Мунисхон продолжала:

— Эти ваши комсомольцы, оказывается, молодцы — признают товарищеские отношения между девушками и юношами. А у наших стариков всегда только грязь на уме, чтоб им пропасть!

— А ты ведь сама говорила, что все комсомольцы — хулиганы...

— Подумаешь... если у них есть что-то хорошее, почему и не похвалить?

— Все новое всегда вызывает противодействие,— сказал Саиди.— Всякая новизна привлекает общее внимание, вызывает разное отношение, разные суждения. И все-таки, несмотря ни на что, мы — дети старой жизни. В нашем отношении к женщине и теперь есть что-то от прошлого. Ну, да ладно... Не расстраивайся. Не стоит об этом ни говорить, ни думать. Лучше решим, как нам дочитать все до пяти часов. Ведь в пять часов уже не найти укромного местечка в саду.

И они вновь взялись за книгу. Вновь перед глазами Саиди замелькали строчки, страницы. А Мунисхон, лежа на мягкой траве, казалось, внимательно слушала...

Но прекрасный весенний пейзаж, которым нельзя было не любоваться, и какое-то радостное возбуждение не давали Мунисхон сосредоточиться, мысли ее улетали далеко. Слова Саиди — «мы дети старой жизни» — вдруг напомнили Мунисхон детство. «Старая жизнь» — это звучало как музыка тамбура, возвращало на несколько лет назад. Эти годы были так далеки от нее, что несколько лет казались тысячелетиями.

Она была тогда маленькой девочкой. В ту весну, которая ей вспомнилась, дни, казалось, были дольше, цветы расцветали пышнее. Сад, в котором она росла, был тихий, уединенный, тишину нарушало только жужжанье пчел, журчанье воды, наполнявшей хауз, да пение птиц. Никто,

кроме Мунисхон, не смел подходить к беседке у хауза посреди сада, где отец вел счеты с приказчиками или отдыхал.

Вечерами появлялись гости в чалмах, в шапках, иногда даже с погонами на плечах. Они были изысканно любезны, сладкоречивы, очень низко кланялись.

Отец часто брал Мунисхон в свой магазин. Они ехали по городу в фаэтоне. А потом долго прохаживались по длинному магазину. Отец на каждом шагу останавливался с какими-то людьми и подолгу разговаривал с ними; это ей надоело, она брала отца за палец, на котором сверкало золотое кольцо с бриллиантом, тянула его к выходу — «идем!». Но когда отец уезжал в Москву или еще куда-то, она скучала по этим поездкам в магазин.

Казалось, нужны долгие-долгие годы, чтобы такая жизнь могла как-то измениться. Но все исчезло в несколько месяцев. Магазин сгорел. Отец умер. Старший брат пропал без вести. Брат Салимхан, с которым она живет сейчас, долго не возвращался домой, хотя и было известно, что он выехал из Оренбурга. Мунисхон вспомнила улыбку отца, и глаза ее наполнились слезами.

Это место, где они сидели сейчас, она знала раньше. Тогда это было заброшенное кладбище. Размытые дождями развалившиеся дувалы, старые тутовые деревья, чинары, на ветвях которых развешаны цветные тряпки — знак памяти об умерших, оставленный паломниками, под ними изъеденные временем могильные камни, а вокруг — редкие кибитки с дырявыми крышами, с обломками арб под дверью, с черепками глиняной посуды, с ржавыми железками у стены. Во всем этом была своеобразная прелесть. А в нынешних, выстроившихся по линейке зданиях нового поселка, недавно заложенном саде, в молодых деревьях и цветах не было того очарования. Какой-то старый черепок или изъеденная временем надгробная плита старого кладбища были для Мунисхон дороже и прекрасней, потому что они были для нее символом той, счастливой жизни. Слезы опять навернулись ей на глаза, сжали горло, но она проглотила их и только тяжело вздохнула.

Обычно, когда Саиди читал, Мунисхон часто прерывала его, просила остановиться на каком-то слове или мысли. Теперь же, больше часа не слыша ее голоса, Саиди заволновался. Закончив главу, он остановился, посмотрел на Мунисхон, увидел, что она расстроена.

— Ты что, устала?

— Нет... Я плохо слушала последнюю страницу... Я

вдруг вспомнила строки: «Если даже сто лет буду ходить по земле, ездить на спине слона или заставляя танцевать под собою лошадь, все равно однажды придет смерть и возьмет меня...»

— Ну, нет...— возразил Саиди горячо.— Раз природа создала тебя с такой любовью и вдохновением, несправедливо было бы рано отдать тебя смерти... Не думай об этом, Мунисхон. Ты будешь жить, пока мир стоит...

— Все имеет свой конец. Родилась — значит, умру...

— Жизнь вечна, Мунисхон. Думай об этом и будешь жить вечно,— сказал Саиди, улыбаясь.— Все живое на земле знает это...

— А ты?

— Что за вопрос? Нет смысла верить в это одному.

— Значит, нет смысла и мне верить одной?

— Конечно!

— Тогда давай будем верить вдвоем...

И прежде случалось, что Мунисхон притворялась наивной, шутила, будоражила молодую кровь Саиди. На этот раз шутка была более откровенной, чем когда-либо. Сама Мунисхон покраснела, засмеялась, прикрыла лицо рукавом. Но Саиди не смог ответить ей тоже шуткой. Он вообще никогда не шутил с Мунисхон так, как она шутила, сдерживался, полагая: «Если я буду говорить с ней шутиливо, она может не поверить моему чувству и огорчится...»

А Мунисхон уже говорила о другом: ей вдруг захотелось зеленого урюка. Саиди вскочил, пошел к речке, нагнул ветку молодого урюка, стал обрывать зеленые плоды. Мунисхон у обрыва следила за ним.

— Осторожно, Рахимджан, ломаешь ветку... Там колючки, побереги свои руки... Мне ведь хватит и двух урючинок...

Она вернулась на свое место. Саиди принес полную горсть зеленых плодов.

— Вот,— сказал он, подавая ей их.— Еле набрал. Мало что-то урюка...

Мунисхон с радостью взяла плоды, но решила не есть их все сразу, она приложила к губам только одну урючинку.

Саиди увидел на книге свежий бутон красной розы.

— Это мне?

— Тебе, если не выкинешь, когда она завянет,— ответила Мунисхон, смеясь и с хрустом раскусывая кислый плод.

«Она во второй раз начинает такой разговор. Очевидно, ждет от меня ответа», — с трепетом подумал Саиди.

— Роза вянет постепенно, постепенно теряет свою красоту. Сердцу, которое старится вместе с ней, она не кажется увядшей. И роза и сердце умирают вместе... — Он собрался было поговорить на эту тему, но Мунисхон быстренько переменяла разговор.

— Дали бы мне этот сад, — сказала она, глядя во круг, — я бы прежде всего окружила его высоким забором, а вот здесь велела бы построить великолепную «шахскую» беседку...

Но Саиди попробовал продолжить:

— Какую бы великолепную беседку ты ни выстроила, все равно сама сидела бы у порога и наливала чай возлежащему на почетном месте своему повелителю?

— Ну, и что ж, если бы он того стоил...

«Ого!» — подумал Саиди, а вслух произнес:

— А вдруг он захочет тебя посадить на почетное место?

— Ничего хорошего не будет!

— Ну, а если все-таки?

— А ты бы так сделал?

Саиди молчал, но весь вид его говорил: «да!»

— Но ведь я за тебя не выйду!

Саиди словно упал с высоты головой вниз — искры посыпались у него из глаз, но он не показал и виду, даже улыбнулся, глядя Мунисхон в лицо. Наступило неловкое молчание. Ветер налетел, перелистал открытую книгу — красная роза упала на землю.

Х

На летние каникулы Мунисхон уехала с братом в Крым, и Саиди остался в городе один. Некуда было пойти, не с кем поговорить, и он целыми днями сидел у себя в комнате, читал и сам немного пописывал. Уже несколько стихотворений и рассказов он отправил в редакцию журнала.

Этот журнал делил своих авторов и их произведения на три категории: талантливые писатели, молодые дарования, которых надо воспитывать и поддерживать, и просто начинающие литераторы.

Саиди не числился даже в последней группе, его имя всегда упоминалось на последней странице с пометкой: «Не будет напечатано». Он был не единственным, в этой рубрике было человек двадцать, — и Саиди не терял надежды.

Чтобы дорасти до тех, кого воспитывают и поддерживают, он перечитал множество книг. За несколько месяцев он стал обладателем целой библиотеки из более чем двухсот томов. Многие он уже прочитал и пользовался каждой свободной минутой, чтобы прочесть и остальные. Но, видя постоянно свою фамилию, украшенную отметкой «не будет напечатано», он стал уже сомневаться, правильно ли поступил, избрав дорогу литератора. Ему пришло в голову, что его не печатают потому, что не хотят платить ему гонорар, и в следующий раз он сопроводил свои произведения надписью: «без гонорара». Но и это ничего не изменило — ответ был все так же беспощаден.

Однако желание попасть в ряды достойных воспитания очень скоро поставило его в весьма затруднительное положение. Все лето он нигде не работал. У него кончились деньги, он отнес на базар все, что мог, начиная со своей одежды и кончая пуховой подушкой, оставшейся от Эхсана. В университете он должен был получить стипендию за три месяца, но боялся показаться там, потому что, оставшись на лето в городе, он не заглядывал в комсомольскую ячейку и не бывал на собраниях. Он даже не мог сказать, что недавно приехал, ведь тогда в ячейке потребуют справку, где и как он работал. Настало время, когда ему пришлось довольствоваться одним черным хлебом. Он сильно похудел и не мог работать больше трех-четырёх часов в день. А если приходилось работать вечерами, всю ночь потом ему снились дурные сны.

Однажды он получил письмо от Мунисхон. «Ты как-то говорил мне, что испытываешь большое наслаждение, если читаешь художественное произведение вместе с любимым человеком. Я вспомнила это, любуюсь прекрасной природой Крыма...» — писала она.

Это письмо еще больше укрепило в нем желание писать. И прежде всего это мучительное желание вылилось в ответном письме. На почте, куда он зашел отправить свое послание, он столкнулся с Ульфатом.

— А-а, ученый юноша... приятный юноша, здоровы ли вы? — Ульфат заговорил с ним, как с мальчиком, дет на двадцать моложе себя.

Пока Саиди сдавал письмо, Ульфат стоял рядом и без умолку болтал. Выйдя на улицу, они еще долго простояли у подъезда. Ульфат рассказывал о том, как работает, куда и с какими поэтами ездил, насколько близок с ними («Покритиковать любого из них для меня ничего не стоит») и, наконец, о своих литературных замыслах, о стихах, кото-

рые задумал написать. Саиди устал стоять на одном месте и, видя, что Ульфат не собирается кончать разговор, пригласил его к себе. А Ульфат, видно, только и ждал этого приглашения.

Саиди с беспокойством думал: чем же он будет угощать гостя? В доме ничего нет, кроме черного хлеба. А денег в обрез. Если он и потратит те крохи, что у него есть, на покупку еды, вряд ли сможет по достоинству принять Ульфата — тот так важно держится. Но Ульфат не позволил ему даже вскипятить чай. Он занялся книгами, и Саиди очень удивился, услышав, что гость не умел даже правильно прочесть их заглавия.

— Вы, конечно, прочли все эти книги? — запинаясь, спросил Саиди.

— Времени нет. Не только книги, даже газету — да что там газету — даже свои собственные напечатанные произведения некогда просмотреть...

Саиди постеснялся спросить: «Но как же тогда ты стал поэтом, как же ты пишешь?»

— Оказывается, у вас хорошая комната, Саиди, уютная. Пожалуй, не хватает этажерки для книг и приличного стола со стульями. Если их добавить, здесь будет хорошо работать. У меня есть этажерка — могу вам дать.

«Лучше бы было предложить мне что-нибудь из еды, балда!» — подумал Саиди и засмеялся.

— Госиздат мне должен двести семьдесят один рубль, — вдруг сказал Ульфат. — Обещали выдать в среду. Завтра что — среда? Завтра должен их получить во что бы то ни стало. Но беда в том, что я живу у одной скандальной старухи, она меня очень притесняет. Я должен ей тридцать рублей. Говорю ей: возьми пока восемнадцать рублей, а в среду отдам тебе остальные. А она не соглашается. И ведь, как говорится, если нет денег у тебя самого, нет и во всем мире... Я просил у редактора, у него тоже не оказалось, только в неловкое положение его поставил. Просить у первого встречного — неудобно. А домой идти не могу — боюсь встретиться с проклятой старухой.

— У меня есть немного денег, — сказал Саиди, роясь в карманах.

— Нет, что вы? Не надо...

— Но почему же? Вот у меня тринадцать рублей. Мне пока достаточно двух. Вот возьмите...

Ульфат положил в свой пустой карман одиннадцать рублей — последние деньги Саиди и, пообещав вернуть долг в среду в час дня, ушел.

Свои два рубля Саиди растянул на пять дней, шестой

день проспал — голодный. Среда Ульфата еще не наступила. На седьмой день Саиди хотел было пойти к нему сам, но не решился: неловко было требовать свои жалкие одиннадцать рублей, хотя для него это была крупная сумма, но что она значила для солидного известного поэта Ульфата? Полдня Саиди валялся на кровати, придумывая, где бы раздобыть денег, но так ничего и не придумал.

Наконец он встал и отправился к Ульфату и всю дорогу, пока шел до редакции журнала, где тот работал, мечтал, что хорошо бы найти на улице деньги и избавиться от этого унижительного посещения.

Ульфат, увидев Саиди, тотчас зашебетал:

— Ах, какая досада... какая досада... Я непростительно виноват... доставил вам столько хлопот. Право, мне так стыдно. Вчера я уже совсем собрался к вам идти, но несчастный Ильхам задержал меня с одним срочным делом. А потом было уже поздно... Вот так... Я уже велел освободить этажерку для вас... Ах, ах, что вы могли обо мне подумать... И все же вам придется еще немного подождать... А пока познакомьтесь с нашей редакцией.

Он повел Саиди в свою редакционную комнату. Саиди смущался и на все его слова отвечал: «Ладно уж, я ведь просто так зашел — не специально за деньгами...»

— Этого проклятого Ильхама я послал в одно место за деньгами, а он пропал, — сказал Ульфат, садясь за свой стол. — Напился, наверное, и застрял где-нибудь... А я, понадеявшись на него, отдал займы все свои деньги... Я даже еще не обедал. Ну ничего, если он и не появится, все равно что-нибудь придумаем. Только вам придется подождать. Такая досада... У меня вечером свидание с девушкой — я недавно с ней познакомился, ей только четырнадцать лет. Последнее время я что-то равнодушен к девочкам. Они даже от поцелуя плачут... А вы как на них смотрите?.. Да, нехорошо получится, если не прийти на свидание... Но, если вы свободны, можно было бы пойти в парк?

Ульфат поискал что-то в ящике стола, не нашел и поднял руки с таким видом, как будто отыскал удачный выход.

— Мы вот как сделаем: вечером я приду к вам, мы пообедаем и пойдем туда, куда обещала прийти моя девушка. Она, конечно, будет не одна. И вам найдется пара. Что вы скажете? Соглашайтесь, соглашайтесь, я вас уговорю! Вы, оказывается, дружны с Мунисхон?..

Саиди попрощался и ушел ни с чем. По дороге он увидел у дверей городской библиотеки Шафрина, но так как

ему не хотелось здраваться с ним, он перешел на другую сторону. Шафрин заметил его, окликнул и быстро догнал. Саиди показался ему совсем изможденным, больным. Войдя в его комнату, Шафрин вскоре понял и причину болезни. Он вышел и быстро вернулся нагруженный покупками.

— Вставайте, Рахимджан! — позвал он, заварив чай и разложив еду на столе. — Выпейте чаю и поешьте, а то вы совсем обессилели.

Саиди, действительно, чувствовал такую слабость, что даже есть не мог, выпил сначала пиалу чая и только потом взял кусок хлеба.

Шафрин пробыл у Саиди до вечера и выпытал, что в университете лежит его стипендия за четыре месяца; прибрал в комнате, зажег лампу и тихонько ушел. Саиди, насытившись за несколько дней, отяжелел и лег. На подоконнике, у изголовья, он увидел книгу, достал ее, раскрыл — и на грудь ему упала трехрублевая бумажка. Он взял деньги, долго их рассматривал. «Странно... когда же я заложил их в книгу?» — подумал он — и так и не вспомнил. Стал перелистывать книгу — и нашел еще одну трехрублевку. «Шафрин!» — закричал он, и ему стало стыдно, он покраснел и, вспомнив, как до сегодняшнего дня держался с Шафриным, закрыл лицо руками.

Конечно, солидный известный поэт Ульфат не явился и вечером. А через четыре дня опять пришел Шафрин. Саиди уже ожил за эти дни. Но ему стыдно было смотреть в лицо Шафрину, и всем своим видом он, казалось, просил о прощении. Шафрин притворялся, что ничего не понимает, он отсчитал Саиди сто двадцать рублей и поднялся.

— Это ваша стипендия, — сказал он, кладя руку на плечо Саиди, — вчера я был у вас на факультете...

И земля не разверзлась, чтобы Саиди мог провалиться.

Шафрин ушел.

Через три недели в очередном номере журнала Саиди прочел новое стихотворение Ульфата. Оно было написано в Ялте. Саиди понял, что его одиннадцать рублей пропали безвозвратно.

Итак, Саиди все лето бился, но так и не попал в круг достойных воспитания и поддержки. Этот круг охраняли такие богатыри слова, как Ульфат, Аббасхан, Ильхам. Они оцепили его железной цепью, и чтобы войти, надо было разбить одно из звеньев этой цепи. На это у Саиди не бы-

до силы. Оставалось искать способ, чтобы хитростью разомкнуть цепь и проскользнуть в обетованный мир.

XI

Салимхан скорее готов был поверить, что есть какая-то связь между ящерицей и катастрофой на шахте, колониальной политикой Британии и белыми коровами Индии, между земным магнетизмом и северным сиянием, даже между зубной болью и слепотой, но никак не мог понять, что может быть общего между его благородной сестрой Мунисхон и простым студентом Саиди.

Хотя он и допускал, что отношения между сестрой и каким-то безвестным студентом далеки от любовных или, как он говорил, — безразличности, но посчитал, что лучше увидеть все своими глазами. Он тщательно скрывал от Мунисхон свои подозрения, подчеркивая, что Рахимджан еще мальчик и не стоит придавать значения его посещениям. Однажды он пришел домой, когда Мунисхон и Саиди готовились к занятиям. Салимхан на цыпочках подошел к окну и поднялся на супу шагах в десяти от дома. Свет из окна не достигал супы, поэтому он спокойно мог наблюдать за сестрой и Саиди. Мунисхон сидела прямо против окна, а Саиди — у стены, оба о чем-то говорили. Мунисхон смеялась. Вот Саиди взял в руки книгу, но Мунисхон, смеясь, отобрала ее у него и отложила в сторону. Салимхан бесшумно спустился с супы, беззвучно открыл входную дверь и долго стоял в коридоре, прислушиваясь. Оказывается, они спорили по какому-то вопросу из учебника. Он ушел, через час опять пришел послушать, но так как ничего интересного не услышал, то уже не таясь, открыл входную дверь и, постучав к ним, попросил разрешения войти. Мунисхон отозвалась. Салимхан вошел. Саиди сидел спиной к двери. Когда Мунисхон встала навстречу брату, Саиди тоже хотел встать. Но Салимхан быстро подошел к нему, удержал его на месте и приветливо с ним поздоровался, протянув ему руку.

— Я так давно хотел вас увидеть, Рахимджан, — сказал Салимхан, дую на расческу, которой только что причесал волосы, — но никак не удавалось до сих пор. В обычные дни — я на работе, а в пятницу, в выходной день, вы у нас не бываете... Ну, как ваши занятия? Довольны вы?

— Ничего... все идет хорошо, — отвечал Саиди, разглядывая свои пальцы.

Салимхан старался расшевелить Саиди, дать ему понять, что он не чужой, что он может чувствовать себя с хозяином на равных, спрашивал об университете, о жизни

студентов, о том, какой путь собирается избрать Саиди в жизни. Салимхан держался так просто, что невольно исчезла разделявшая их отчужденность. Правда, Саиди, хоть и был очарован обращением Салимхана, все же помнил, что он — Саиди — простой студент, обыкновенный парень, неудачно пытающийся приобщиться к литературному творчеству, а Салимхан — крупный специалист, работник просвещения, которого уважают не только учителя города, но и руководители из центра.

Салимхана интересовало все: где Саиди учился в начальной и средней школе, кто были его учителя. Как часто бывает, когда двое из одного кишлака, разговорившись, неожиданно выясняют, что они чуть ли не родственники, так и Саиди, углубляясь в воспоминания школьных лет, становился ближе Салимхану. Мунисхон, до сих пор скрывавшая от брата, что показывала Саиди фотографию Исхака-эффенди, теперь увидела, что нет нужды больше таиться, почувствовала, что у нее груз свалился с души, и поспешила вставить:

— Оказывается, Рахимджан знал Исхака-эффенди... Вы помните его, брат?

Салимхан прикинулся непонимающим:

— Кто это? Исхак? Да, да, Исхак-эффенди! Я слышал, что этот человек ушел к басмачам... Дурак!

Саиди оживился и рассказал все, что слышал о его смерти.

Мунисхон, пока Саиди говорил, тихо перебирала клавиши рояля, а когда он закончил, заиграла громче — сначала то, что попросил брат, а потом то, что хотел услышать Саиди.

Когда Саиди собрался уходить, Салимхан сказал ему:

— Теперь это — ваш дом, как говорят люди хорошо знакомые, близкие... Мы с вами с первой же встречи подружились... Мунис рада вам. Науки, которые вы изучаете, мне незнакомы, — я ведь не получил никакого образования, кроме медресе. Поэтому я не могу помочь сестре, вы уж ей помогайте. И дружеская просьба к вам... По пятницам вы, вероятно, свободны, как и я... В эти дни оставляйте все свои дела и приходите к нам, посидим-потолкуем. Должен же человек хоть один раз в неделю отдыхать. Если захотите — и друзей своих приводите.

Саиди, поклонившись, удалился. Салимхан проводил его до улицы и вернулся довольный. Некоторое время он стоял посреди комнаты в раздумье, потом сел на диван. Мунисхон, убирая книги со стола, поинтересовалась, будет ли он пить чай, но брат вместо ответа спросил:

— По какому поводу возник у вас разговор об Исхак-эффенди?

У Муниسخон сжалось сердце от этого неожиданного вопроса, она повернулась к брату. Салимхан улыбался. Но его улыбка напугала Муниسخон.

— Пусть меня бог накажет, если я... Он сам первый заговорил... — сказала она, не понимая смысла улыбки. Салимхан расхохотался.

— Я тебя и не виню... не виню...

— Тогда почему же вы так смотрите на меня? Он сам мне сказал. Оказывается, Исхак-эффенди хотел увести Саиди за границу. Я сказала, что этого человека... не любил мой брат... что когда-то он приходил к нам...

В эту ночь Салимхан не мог спать спокойно — как будто его поезд уходил на рассвете, и он боялся опоздать. Ночь оказалась ему очень длинной.

ХИ

С тех пор Салимхан стал так часто спрашивать о Саиди, что Муниسخон даже заподозрила неладное. Каждый раз, когда приходилось к слову, Салимхан говорил, что Саиди — парень неглупый, что он на голову выше остальных студентов. Муниسخон все это передавала Саиди.

В дни, когда должен был прийти Саиди, Салимхан старался быть дома и усиленно приглашал его придти в пятницу. Саиди отговаривался под разными предлогами. В конце концов ему стало неудобно отказывать такому важному человеку, он пообещал прийти в пятницу, а придя, сам не заметил, как засиделся до одиннадцати вечера.

Муниسخон не было дома. Неудобно было спрашивать, где она, но во всяком случае на этот раз не она одна была причиной его задержки. Получилось так, что между ним и Салимханом возникла своя особая связь. Сначала это была не то чтобы связь, а так, паутинка, слабая и незаметная, и Саиди даже не сразу мог ощутить ее и заметил ее только дома, уже лежа в постели. Очевидно, дело в том, что Салимхан, несмотря на его положение и авторитет, был совсем не спесив, общителен и, как человек с чистой душой, доброжелателен; если кто-то попадает в трудное положение, он готов протянуть руку помощи; он ценит культуру, знает людей и способен оценить в человеке ум и дарование. Вот это последнее и связало их больше всего.

Словом, Саиди, следуя настойчивым приглашениям Салимхана, стал придти сначала изредка, а потом каж-

дую пятницу, иногда даже и в четверг. И всякий раз Салимхан оказывал ему максимум внимания. Саиди и в самом деле отдыхал здесь после недельной работы. А когда приходил в четверг, то зачастую оставался ночевать.

О чем только они ни говорили! О строительстве Панамского канала, о причинах и последствиях русско-японской войны, о гибели парохода «Императрица», об открытии английским ученым Рамзеем превращения подземных запасов угля в газ и его эксплуатации, о странствиях лорда Байрона, о колониальной политике Англии, о произведениях Абдуллы Тукая, о человеческом разуме, об исламе, о вражде между турками и армянами, о национальной политике компартии, о завоевании Туркестана и тому подобное...

В одну из пятниц разговор зашел о смерти Толстого, и Салимхан прочел наизусть стихотворение в прозе Абдуллы Тукая, написанное на смерть великого писателя.

Когда умер Толстой, Салимхан только приехал в Уфу в медресе. Отец послал его учиться по настоянию своего друга, знаменитого бая и прогрессивного деятеля Хусаинова. Хусаинов привез Салимхана в Казань, а потом вместе со своим младшим зятем отправил в Уфу. Зять Хусаинова был энергичным способным парнем, на все руки мастером. Несколько лет они жили в медресе в одной келье. Этот юноша был занят такими проблемами, которые казались удивительными Салимхану, много читал, писал статьи. Постепенно Салимхан вошел в круг его интересов и даже спорил с ним подчас. Этот человек жаждал различных реформ в религии, в школе, мечтал о свержении царизма и, предпочитая говорить по-турецки, с пафосом восклицал: «Почему мусульмане в России лишены свободы выражать свои мысли и идеи, когда все в мире пользуются этой свободой?» А в представлении Салимхана, хотя царское правительство и было плохим, зато в России были фабрики и заводы, каких не было в Туркестане. Но потом, побывав на родине, он согласился с молодым своим товарищем, понял справедливость его требований и стал тоже желать, чтобы такие мысли распространялись среди мусульман Востока; в последние годы он верно почувствовал, куда клонят такие газеты, как «Вакт», «Тарджиман» и другие, и сам засучил рукава, изо всех сил стараясь повернуть национальное движение под знамя этих идей. Что касается молодой интеллигенции Туркестана, то она, конечно, нуждалась в кадрах, обученных столь опытным учителем.

— Давайте сегодня не затрагивать мировых вопросов. Проведем время так, как проводят его все на отдыхе! — сказал Салимхан в одну из пятниц, указывая на две бутылки коньяка, стоявшие на столе.

— Смогу ли я оценить это? Ведь мне еще никогда не приходилось пить коньяк, — смутился Саиди.

На улице валил снег, ветер, все время шумевший, как мощный водопад, вдруг начинал беситься, выл в проводах и бился в окно.

Мунисхон принесла блюдо с шипящим кебабом, присела к столу сама, выпила только рюмку вина. Но и эта единственная рюмка так подействовала на нее, что она покраснелась, глаза у нее заблестели. Слушая болтовню Салимхана, Саиди краешком глаза время от времени смотрел на Мунисхон. Ей было неловко, что она опьянела; взгляд Саиди смущал ее еще больше, и она, опустив глаза, кусала губы с досады.

Каждая рюмка коньяку непонятным образом оборачивалась у Саиди целым потоком слов. По мере того, как опорожнялась бутылка, Саиди чувствовал себя все ближе к Салимхану. Стены этого дома охраняли его не только от бешеного ветра и снежного бурана, но и от всех житейских забот и невзгод. Здесь не достанет его рука комсомольской ячейки! Здесь уже не нужно было сдерживать постоянное раздражение, таившееся в его сердце; он чувствовал себя, как цыпленок, убежавший от сарыча и спрятавшийся под материнским крылом. Когда опустела первая бутылка, он даже вообразил, что может позволить себе поцеловать Мунисхон, ему казалось, что Салимхан не возражал бы против этого.

А Салимхан, откупоривая вторую бутылку, сделал вывод:

— Как часто мы не замечаем одаренности человека, и способности его гибнут, не получив развития...

Саиди не хотелось при Мунисхон рассказывать о своих неудачах, говорить, что он и есть тот человек, которому суждено погибнуть без внимания, но он горячо поддержал Салимхана.

Потом Мунисхон играла на рояле. Саиди, сидя в кресле, покачивался в такт музыке. Когда Мунисхон, закончив мелодию, хотела встать, Саиди подошел к ней, взял ее за плечи, вновь усадил и попросил, чтобы она еще играла. Она стала играть, а Салимхан, покачиваясь в кресле-качалке, подпевал ей, фальшивя, и это страшно раздражало Саиди.

Саиди еще помнил, как стало темно и зажгли свет. Кто-то пришел. Он слышал смех незнакомой женщины. Потом все спуталось в его голове.

Он не знает, как очутился в своей комнате. Проснулся утром от сильной жажды, не нашел воды, хотел открыть окно, чтобы взять горсть снега, но окно было так занесено, что не открылось. Он собрался уже выйти, когда заметил на столе клочок бумаги и три пятирублевки. Прочел записку:

«Дорогой Рахимджан!

Вы вчера так опьянели, что не согласились остаться у нас. Этот негодный Ильхам принес вино, которое оказалось лишним. Но ничего страшного не случилось. Не беспокойтесь, вы ничего не натворили неприличного. Лучше не ходите сегодня на занятия. Оставляю вам немного денег — на всякий случай. О них тоже не думайте. Будьте спокойны. С уважением к вам

С. 3-го февраля».

Саиди готов был рвать на себе волосы. «Неужели я проговорился там, что у меня нет денег? Ой-ой, что же я еще там натворил? Пришел Ильхам. Потом ушел. Я плакал — отчего? Целовал руки! Мунисхон... плакал... Она смеялась... А где был Салимхан?..»

Все это казалось сном. Но сейчас он не мог думать об этом. Записка Салимхана вовсе не успокоила его. Завтра Мунисхон расскажет, что там было, — расскажет с обидой или со смехом.

XIII

Однажды, когда Саиди, вернувшись с лекций, открывал дверь в свою комнату, к его ногам упал длинный, очень тонкий конверт с неясным штампом какого-то учреждения. Еще живя у зятя, Саиди был достаточно напуган такими конвертами. В них приходили извещения финансового отдела, судебные повестки. Поэтому и сейчас первым чувством Саиди был испуг. Не разобрав штампа на конверте, он нетерпеливо разорвал его. В верхнем углу листа стоял штамп журнала, куда Саиди отправлял свои произведения, ниже было написано: «Товарищ Саиди!» Саиди читал это письмо так, словно это был приговор о жизни или смерти.

«Товарищ Саиди! По недосмотру работников редакции ваше стихотворение «Долина» и рассказ «Каландар»

оказались в числе отклоненных материалов, но сейчас, хотя и с опозданием, мы их поставили в очередь для публикации. Просим вас зайти в редакцию.

С товарищеским приветом. Кенджа».

Саиди весь дрожал, сам не понимая, отчего эта дрожь — от страха ли или от неожиданной радости. Он перечитал письмо несколько раз, немного успокоился, огляделся. Ему показалось, что вся его комната изменилась, все улыбалось ему. Он вздохнул с облегчением, как будто взял наконец какую-то трудную и опасную высоту, и сказал себе: «Мир прекрасен. Жизнь хороша. Труд не бывает бесплодным».

Он запер дверь, постоял, прислонясь к печке, потом снял пальто, бросил его на кровать, вытащил из-под кровати пачку журналов и, присев на корточки, стал перелистывать их, наслаждаясь запахом литографской краски. Письмо из редакции он все еще держал в руке. Весь остаток дня Саиди пробыл дома, позабыв даже о еде. Он старательно занялся уборкой комнаты, перебрал все книги, покрыл стол белой бумагой и на краешек его небрежно положил письмо, как будто это была записка, не имеющая большого значения. Потом долго перелистывал тетрадь, куда переписывал свои стихи и рассказы. Попытался что-то писать, но не мог. А читать что-то чужое ему не хотелось.

Утром Саиди охватили сомнения: хоть в письме и говорилось ясно о том, что его стихи и рассказ поставлены на очередь, но он не мог поверить в это окончательно. Все еще считал писательский труд непостижимой для себя тайной и не вполне верил обещанию редакции. Он не знал, кто такой Кенджа, что он за человек? Может быть, он нарочно написал такое письмо, а когда Саиди придет, накричит на него, опозорит перед всеми. Стоит ли идти в редакцию?

Но все-таки Саиди решил пойти, хотя у него так билось сердце, что он не мог даже поесть — ничего не мог проглотить, будто ему перехватило горло.

По дороге в редакцию Саиди уговаривал себя: «Будь готов ко всему! Жил бы ты спокойно, писал понемногу, когда-нибудь и вышел бы в люди. Сейчас вот ты идешь, а каково будет возвращаться...»

Самое трудное было перешагнуть порог мрачного, будто насупившегося здания, в котором находилась редакция журнала. В коридоре он уже держался смелее и даже спросил у какого-то очень величественного человека, вы-

шедшего из одной из дверей, где можно найти Кенджу. В комнате, куда он вошел, справа от входа сидел какой-то парень, а в глубине был стол, который, очевидно, принадлежал более высокопоставленному человеку, на нем лежало много бумаг, но за столом никого не было. Саиди прошел к солидному столу и стал дожидаться его хозяина. Он узнал парня, сидевшего за другим столом: это был тот самый поэт, которого так бранили тогда на собрании молодых писателей.

Наконец вошел маленький круглый человек с болезненно опухшим лицом, даже не взглянув на Саиди, сел за свой стол и стал перебирать бумаги. Саиди подождал, потом спросил тихо:

— Вы — товарищ Кенджа?

Человек, опять не поднимая глаз, кивнул в другую сторону.

— Вон товарищ Кенджа!

Саиди повернулся и пошел к Кендже. Кенджа отодвинул бумаги, посмотрел на Саиди, протянул руку, поздоровался.

— Вы Рахимджан Саиди? Присаживайтесь.

Саиди сел. Кенджа вынул из ящика стола рукопись.

— Это ваши первые опыты или вы и раньше писали?

— Иногда пишу, так, для себя... Кое-что посылал вам...

— Оба ваших произведения можно напечатать, но в обоих, особенно в стихотворении, по-моему, есть некоторые недостатки. Я вам сейчас их укажу, и мы — хотите сейчас, хотите позже — их обсудим. Если мои замечания вы найдете справедливыми, мы с вами исправим стихи своими силами или с помощью товарищей.

Многое на свете способно принести человеку радость. Но ничто не может сравниться с приветливостью человека, от которого ожидал грубости. Хотя Саиди знал, что Кенджа не принадлежит к числу «избранных», выдающихся поэтов, все равно он ждал от него язвительной оценки, ядовитых слов.

— Я так рад, что вы считаете мои вещи достойными обсуждения... Спасибо вам за помощь, которую вы обещаете...

Саиди согласился со всеми замечаниями и советами Кенджи по поводу стихотворения, но неожиданно для него самого возникла мысль: «Кажется, это один из тех, что только с виду приветлив и любезен. Начал с того, что обе вещи годятся для печати. А потом очень мягко свел мои стихи на нет. Теперь и рассказ мне вернет».

— Рассказ ваш хорош, но не закончен, — сказал Кенджа.

«Ну, вот, так и есть», — подумал про себя Саиди. Он что-то хотел возразить, но Кенджа продолжал:

— Вы хорошо показали тяжелую жизнь узбекской девушки, но этого, по-моему, мало. Мы, современные литераторы, должны не только показывать болото, слякоть жизни, но и подсказывать выход из него. Я попытался добавить к вашему рассказу конец. Я вам прочту: если вы согласны, оставим так, если возражаете — напечатаем в первоначальном виде.

Глаза Саиди, уже полные отчаяния и безнадежности, широко раскрылись. Он прочел добавленную Кенджой главу. Она не только оживила рассказ — она влила жизнь в самого Саиди.

— Знаете, Кенджа-ака, — сказал Саиди, — вы, наверное, не можете себе представить, как я буду рад, когда будет напечатан мой рассказ. Но сейчас я радуюсь еще больше. То, что вы затратили столько времени и труда, чтобы исправить мой рассказ, для меня свидетельство того, что я, значит, могу писать, стою того, чтобы мне советовали и помогали, значит, люди, прочтя мой рассказ, не засмеются, не скажут: «Бедняга, ничего у него не выходит».

Кенджа засмеялся.

— Значит, вы согласны, чтобы эта глава была добавлена к рассказу.

— Ничего не могу возразить. Я очень-очень вам благодарен.

Кенджа положил рукопись в ящик. Саиди собрался уходить, но Кенджа его удержал.

— В вашем стихотворении есть удачные строчки, используйте их, когда будете писать другие стихи. Будьте взыскательны в выборе темы, не следуйте слепо за другими поэтами. Вот одна молодая поэтесса, словно соскучившись по ханским временам, написала стихи с тоской о прошлом. Она забыла, что во время ханов женщины были рабами мужчины. Так почему же она тоскует о прошлом? А я знаю, что она вовсе не тоскует о ханах и об их временах — просто она написала стихи, подражая старинным поэтам... Вы, наверное, знаете, что недавно на пленуме ЦК Коммунистической партии Узбекистана обсуждался вопрос о подготовке к проведению земельной реформы. Земельная реформа — это небывалая радость для бедняков и батраков. Вот вам самая актуальная сейчас тема!

Саиди был словно пьяный, все казалось ему сейчас возможным, достижимым. Если этот приветливый, любезный человек, который так хорошо относится к людям, у которого нет зла на сердце, говорит, что тема земельной реформы нужна, — почему бы ему, в самом деле, не написать рассказ о земельной реформе? Если рассказ будет слаб, ему помогут. Саиди пообещал написать рассказ на нужную тему и, поднявшись, чтобы уйти, опять стал благодарить Кенджу.

— Спасибо, что потратили на меня драгоценное время, оказали мне товарищескую помощь. Если бы я знал вас раньше, я бы сам приносил вам стихи а не посылал их по почте.

— А вы и раньше посылали стихи?

— Да, но они не были опубликованы. Но дело не в том... Если бы я сам их вам принес, вы бы указали недостатки, посоветовали бы мне...

— Так вы посылали нам стихи? Они к нам не поступали, — сказал Кенджа и посмотрел на хмурого человека сидевшего за другим столом. — Якубджан, к вам поступали стихи Рахимджана Саиди?

Якубджан проворчал почему-то со злостью:

— Не знаю, не видел.

— Может быть и так, товарищ Саиди: вы посылали, но они могли к нам не попасть.

— Но как же... в журнале появлялись ответы... Всегда отвечали... — сказал смущенно Саиди.

— Где, когда, в каких номерах? — спросил Кенджа и выложил перед ним номера журналов.

Саиди не хотелось вспоминать о том, что было, но Кенджа просмотрел журналы сам, нашел в нескольких номерах подряд имя Саиди, украшенное отметкой «не будет опубликовано», — сначала удивился, потом побледнел, покраснел.

— Якубджан, как это получилось, что я не видел этого?

Якубджан сделал вид, что очень занят, и не отвечал.

— Якубджан!!

Саиди испугался, увидев по лицу Кенджи, что может начаться скандал. Когда Кенджа повторил свой вопрос, Якубджан ответил со злой усмешкой:

— Откуда мне знать, что вы видели, чего не видели? Вы еще спросите меня, в какую пивную вы вчера заходили!

Кенджа побледнел.

— Якубджан, я у вас не займы прошу, а спрашиваю вас в редакции о редакционных делах!

Собрав все журналы, Кенджа повел Саиди к редактору и рассказал о том, что произошло. Редактор, спокойный человек, просмотрел журналы, покачал головой.

— Так кто же читал эти вещи?

— В том-то и дело, что, очевидно, никто не читал, а просто отвечали отказом. Мы усиленно поднимаем на страницах журнала вопросы воспитания молодых дарований и сами же лишаем молодого начинающего литератора советов, хотя он посылал нам несколько своих произведений.

Редактор рассердился.

— Почему же вы сами их не видели? Если вы не читали, почему не обратили внимания на все эти отказы? Что это значит, бесконечные отказы: «Не будет опубликовано»? Кто-то должен был вам ответить подробно и по существу. Товарищ Саиди, вы ни разу не получили письменного ответа?

Саиди не решился ответить. За него сказал Кенджа:

— Последние его вещи я нашел в корзине. Он не получил ни одного письменного ответа. А я не обратил внимания на отказы в журнале.

— Ну-ка, позовите Якубджана!

Кенджа вышел и привел Якубджана.

— Якубджан, — сказал редактор, — не кажется ли вам, что вы слишком часто отвечаете в журнале — «не будет опубликовано»? Вы забыли, что должны начинать авторам отвечать в письменной форме, давать советы?

Якубджан был очень растерян.

— Я посылаю ответы. Но они возвращаются — адреса указывают неверно...

— Вот товарищ пришел сам, если адрес его был указан неверно и письмо вернулось, покажите ему ваше письмо. Хоть оно и устарело, все же из него можно извлечь пользу.

— Мы не храним вернувшиеся письма.

— Если вы не храните вернувшиеся письма, как же вы докажете, что письмо было вами написано и вернулось? Вот этот товарищ имеет к нам претензии. Что же мы ему скажем? Так не годится. На воспитание и советы молодым писателям мы тратим ежемесячно тысячи рублей общественных денег. Что же, значит, мы зря тратим деньги? А за это мы отвечаем перед законом, перед Советской властью. Ну-ка, позовите Ильхама!

Якубджан хотел подняться, но Кенджа опередил его и привел Ильхама.

Саиди тотчас узнал Ильхама, так как дважды встречал его в доме Салимхана. Увидев разгневанного редактора, Ильхам побледнел.

— Товарищ Ильхам, — сказал редактор, — вы осведомлены о том, в каком состоянии у нас работа с начинающими? Это не работа, а бог знает что! Короче, скажем так: послезавтра в одиннадцать часов соберите всех, кто имеет отношение к этому, и всех сотрудников редакции. Проведем небольшое совещание. На днях выходит очередной номер, в нем, наверное, куча этих самых «не будет напечатано», а, Якубджан? Идите в типографию и выкиньте все. И впредь оставьте эту привычку — отвечать в журнале, не читая произведений. Совсем у вас, оказывается, головы опухли!

Якубджан вышел. Следом за ним ушел и Ильхам.

— Так вот и бывает, когда дело делается без сердца, формально, — сказал, словно про себя, редактор. — Преступление, прямо преступление!

Кенджа поднялся, с ним ушел и Саиди. Саиди было очень неловко, что из-за него произошли такие неприятности в редакции, и, прощаясь, он извинился перед Кенджой.

XIV

Ожидая Муниسخон, которая должна была, как всегда, прийти к нему заниматься, Саиди положил письмо из редакции на видное место. Но Муниسخон даже не обратила на него внимания, не поинтересовалась, что в нем, равнодушно отложила в сторону, сунула в рот курут¹ и раскрыла книгу. Если бы она хоть слово сказала о письме, он бы ей рассказал все, что произошло в редакции, и это, может быть, хоть немного подняло бы его в глазах девушки над всеми другими студентами факультета. А равнодушные Муниسخон к письму еще больше увеличило дистанцию между ними. Право, она — как горизонт: сколько ни идешь к нему, он все удаляется от тебя.

Но Саиди не унывал — ведь скоро появится в журнале его рассказ, и тогда, авось, он сумеет приблизиться к своему горизонту.

Каждый день, идя в университет, он внимательно оглядывал по дороге все газетные киоски. День начинался с ожидания и был полон напряжения до тех пор, пока он не

¹ Курут — шарики из сушеного творога.

убеждался, что журнал еще не вышел. Тогда все теряло для него интерес, и даже часы, которые он проводил с Мунисхон, казались ему теперь бесконечно долгими.

Но вот однажды, когда он возвращался после лекций, первый же встретившийся киоск мгновенно снял с него всю усталость. В киоске лежала целая стопка нового номера журнала. Саиди тотчас купил два экземпляра и, торопливо просматривая содержание, сразу увидел в середине свою фамилию. Ему показалось, что земля под ногами стала вдруг мягкой, как войлок, голова у него закружилась. Он не помнил, какими улицами добирался домой, как открыл дверь, куда дел книги, которые нес, как остановился перед столом. Он залпом прочел свой рассказ. Глава, добавленная Кенджой, была так удачно вставлена, что незаметно слилась со всем остальным.

Он еще раз прочел рассказ. Теперь ему показалось, что именно те страницы журнала, где напечатан его «Каландар», уже захватаны и истерты, как страницы много раз читанной книги. Он вырвал свой рассказ из второго экземпляра журнала. Но и этот оказался ему несвежим. Он вышел и купил еще один экземпляр и спрятал в ящик стола. Но и этот экземпляр казался ему уже потрепанным. Теперь он, сам себе не признаваясь, ждал, что его будут поздравлять. Пугаясь этого, он даже не пошел в столовую обедать. Но на другой день на факультете никто, включая Мунисхон, не сказал ни слова. А он, все еще опьяненный, не замечал этого. Наоборот, стоило кому-нибудь взглянуть на Саиди, как перед его глазами вставали страницы журнала. При виде двух разговаривающих между собой студентов у него екало сердце. Ему казалось, что они обсуждают рассказ «Каландар». Слова, в которых никогда не было буквы «С», слышались ему как Саиди.

Этот первый успех вернул Саиди силы, растроченные за последние два года. На лице его, бледном, как придорожный пыльный цветок, заиграл румянец, глаза заблестели. Он был теперь молодым, полным энергии, и хотя Мунисхон еще не признавала этого, он выделился среди студентов, он был автором «Каландара», будущее казалось ему светлым.

С новыми силами, полный желания и веры в себя, с увлечением стал он писать. Свой новый рассказ он хотел посвятить подсказанной Кенджой теме — земельной реформе. Он стал рыться в газетах в поисках нужного материала и сообщил в журнал, что взялся за эту тему и нуждается в консультациях по этому вопросу. Ответ на

это письмо должен был прийти дня через три, но он напрасно прождал десять дней. А сам, помня, как его приход нарушил покой редакции, не решался идти туда.

В очередном номере журнала не было ни слова о земельной реформе. Тогда Саиди послал в редакцию свой рассказ.

Через несколько дней в одной из центральных газет появился очерк Кенджи, озаглавленный «Впечатления». В очерке говорилось о собраниях, проводимых в кишлаках, о требованиях крестьян-бедняков и батраков ускорить земельную реформу, о вопросах, интересующих их: сколько земли, на каких условиях и на какой срок будет роздано, и о кишлачных активистах, ведущих подготовку к реформе. Очерк был написан Кенджой в Ферганской долине, в кишлаке Ганджиравон.

XV

Хотя журнал, призванный воспитывать молодых писателей, так долго не хотел признавать Саиди, все же его «Каландар» имел успех. Он даже стал предметом споров среди писателей и критиков. Об этом рассказала Саиди Мунистон, — правда, не для того, чтобы обрадовать его, а чтобы похвалиться, какие известные люди посещают дом ее брата.

Салимхан, наконец, будто соскучившись по Саиди, пригласил его через Мунистон. Саиди ждал этого.

Обычно в те дни, когда должен был прийти Саиди, Салимхан был один и, если кто-нибудь стучался в дверь, не отзывался и не впускал никого. Поэтому Саиди вошел, как всегда, без стеснения. Салимхан встретил его во дворе — без пальто, с непокрытой головой и, кажется, слегка навеселе.

— У вас кто-то есть? Гости? — смутился Саиди, отступая.

— Нет... никого чужого... все свои... — отвечал Салимхан и, взяв Саиди под руку, повел в дом. — Так... собрались случайно... Вы ведь знакомы с Аббасханом?..

В комнате было темно от табачного дыма. На столе — нарезанный лук, соленые помидоры, палочки от шашлыка, одна пустая бутылка, другая наполовину опорожненная, из пепельницы на краю стола вился тонкий дымок.

На диване лежал Аббасхан, едва пошевелившийся, когда появился Саиди.

— Аббас, ты знаешь этого юношу? — спросил Салимхан. — Это молодой писатель, автор «Каландара».

Аббасхан улыбнулся и протянул руку Саиди.

— Конечно, знаю. Это же мой ученик. Правда, я дав
но его не видел.

Саиди был смущен этой встречей. Салимхан усадил его, подвинул к нему тарелку с шашлыком, налил — одну за другой — несколько рюмок. Саиди всякий раз отказывался, но выпивал с легкостью. Аббасхан вспомнил некоторых соучеников Саиди по школе, стал говорить о том, что уже в то время было заметно увлечение Саиди литературой.

— Еще тогда я часто видел стихи этого юноши в стенгазете. Они и тогда были не то, что стихи этого нынешнего кишлачного поэта... Читали вы его «Впечатления» в газете? Каковы впечатления его милости, а?

Саиди понял, что речь идет о Кендже. Ему уже пришлось однажды быть свидетелем разногласий между Кенджой и Аббасханом — на собрании. Еще тогда он понял, что это разногласия между двумя группами, а не просто между двумя людьми. Последние выступления в печати подтвердили догадку Саиди. Но вражда эта в статьях и рецензиях прикрывалась критическими рассуждениями. «Впечатления» Кенджи Аббасхан расценивал как «попытку человека, неспособного создать что-то достойное именоваться произведением искусства, завоевать себе авторитет публикацией якобы актуальных, но далеко не художественных заметок».

Как всегда, когда он был пьян, Аббасхан никому не давал слова сказать, разглагольствовал один. Но его болтовня не казалась скучной Саиди. Аббасхан, как и Салимхан, казался Саиди высоким ценителем культуры, уважающим талант, тонко разбирающимся в произведениях искусства. Он остановился на рассказе Саиди «Каландар», отметил его недостатки, да так едко, что Саиди стало стыдно. А последнюю главу рассказа разобрал так, что Саиди в оправданье пришлось рассказать о том, кто вписал эту главу в рассказ.

В это время отворилась дверь в передней и кто-то вошел. Салимхан тотчас встал, вышел в переднюю.

— О, почтенный домла! Заходите, пожалуйста, — заговорил он приветливо, словно пришедшего давно ждали И посторонился, давая дорогу.

Вошел человек лет сорока пяти, среднего роста, толстый, в меховой шубе, обшитой сверху зеленым сукном. Лохматые брови, похожие на усы, падали ему на глаза, лысая голова, на которой сидела маленькая тюрбетейка,

блестела, как только что начищенный желтый ботинок. Щеки обвисли. Движениями домла напоминал медведя, походкой — утку. Он ни с кем не стал здороваться, на поднявшегося в знак уважения и стоявшего у стены Саиди даже не взглянул. Аббасхан сам подошел к нему и поздоровался. Никто не садился, пока этот человек не опустился осторожно на стул. Салимхан вылил в рюмку остатки коньяка и протянул ему. Домла быстро выпил и ничем не закусил.

— И это все? — спросил он, показывая пустую рюмку.

Его голос был даже грубее, чем можно было ожидать, глядя на его грузное тяжелое тело. Салимхан рассмеялся.

— Целая бутылка ваша, домла! Сейчас и шашлык будет готов.

Аббасхан с домлой заговорили о чем-то, но Саиди ничего не понял, так как в разговоре трудно было отыскать начало и конец.

Когда был подан шашлык и открыта новая бутылка, настроение домлы улучшилось, он снял шубу. А потом долго говорил, после каждого слова повторяя: «Как, вы согласны со мной?» — и при этом смотрел и на Саиди — и Саиди это нравилось.

Домла Мурадходжа не только походкой напоминал утку. Утка, как известно, обладает тремя свойствами: летает по воздуху, ходит по земле, плавает по воде. Вот и домла: в школе был учитель, в кишлаке — землевладелец, а у себя в мехманхане — торговец, хоть и не очень явный. Многие в городе считали его только преподавателем родного языка, знающим словесником. Но молодежь видела в нем человека, который не хотел отречься от своих дореволюционных убеждений. Мурадходжа совсем не старался казаться «красным», как многие его приятели. И те не просто осуждали его, а хотя это могло обидеть, стремились открыто с ним не общаться и даже, когда приходилось к слову, выступали против него на собраниях или в печати. Домла этому не придавал значения. Вот тот же Аббасхан сколько раз бранил его на собраниях. А про Салимхана и говорить нечего. Многие в городе думали, что он и домла просто не выносят друг друга. Пусть думают так.

Домла по утрам любил наслаждаться гулькандом, сладкой смесью гашниша, розовых лепестков и растертого сахара, в полдень — пообедать кабульской шурпой и запить ее вином, настоенным на лепестках розы. И точно так же он любил чистоту родного языка, стараясь придумывать узбекские термины даже для уже вошедших в

язык слов: вместо «самовар» говорил «узикайнар» — самозакипающий, вместо «электричество» — «симчирок», т. е. «свет от проводов» и тому подобное.

Чтобы изучать чистый народный язык, домла время от времени выезжал в кишлак, где у него был давнишний верный друг Ниязмат-хаджи. Как только становилось известным, что домла приезжает, в доме Ниязмата-хаджи готовилось обильное угощение. Собирались его друзья и почитатели. Все желания домлы мгновенно исполнялись. И если он учился у друзей чистому родному языку, то они учились у него, как вести хозяйство, как обращаться с арендаторами и батраками.

Появившись в доме Салимхана, домла был хмур и раздражен, пока не выпил первой рюмки; потом как-то так получилось, что заговорили о разных вещах, и он развлекся. Но когда Аббасхан напомнил о «Впечатлениях» Кенджи, домла пришел в сильнейшее раздражение и стал натягивать на себя только что снятую шубу.

— Этой реформой Советская власть только разрушит узбекские кишлаки! — закричал он так сердито, как будто присутствующие были виноваты в этом. — Я знаю, что произвело впечатление на вашего мельника-поэта, я видел...

— Нельзя сказать, что у нас нет противников земельной реформы даже среди членов партии и среди специалистов, — сказал Аббасхан после долгого молчания, — но на людей, подобных Кендже, не стоит обижаться, ведь он хочет только заявить о себе, стать известным...

Впечатление, которое вынес Санди из этой беседы, было смутно: искусство — это крепость, завоевать которую не всякий в силах. Не зная секретов его, ступать по пути искусства смертельно опасно. Аббасхан знает эти секреты. Он не такой, как другие, — не завидует чужим талантам. Тонкий ценитель, он редко кому открывает тайны искусства. С помощью чего достигали известности и славы великие поэты, — это тоже можно узнать у него. А Кенджа — не поэт... У него нет таланта. Поэты, появившиеся после него, ушли далеко вперед, он отстал от всех. Кенджа завидует им, старается казаться приветливым с молодыми, удачно входящими в литературу, а сам сбивает их с толку. Прислушиваться к советам Кенджи — значит, сбиваться с правильного пути. Земельная реформа разорит узбекские кишлаки...

Санди вернулся домой в полночь. Он был растерян, ослаблен и на другой день в университете ходил сам не

свой. Почему-то на сердце было беспокойно, словно он потерял что-то. Так бывает, пока не придут настоящие заботы, не заставят обеспокоиться всерьез.

В эти дни центральные газеты печатали под крупными заголовками сообщения из разных мест о подготовке к проведению земельной реформы, и среди этих сообщений публиковались стихи и очерки молодых писателей.

XVI

Комсомольская ячейка факультета, где был Саиди, решила направить двадцать комсомольцев в распоряжение райкома для участия в кампании по проведению земельной реформы. Саиди, который уже не верил Кендже и считал своим доброжелателем Аббасхана, возмущался этим и пытался уклониться. Но когда секретарь ячейки дал ему понять, что против уклонившихся будут приняты строгие организационные меры, у Саиди не хватило смелости отказаться, и он был вынужден отправиться в райком.

В райкоме этими делами ведал его старый знакомый Шариф. Саиди, увидев его, почувствовал неловкость, словно он внезапно встретил человека, от которого скрывался. Шариф же поздоровался с ним дружески.

— Ну, товарищ Саиди, — сказал Шариф, — получаете ли вы письма от Эхсана? Кажется, этот бессовестный совсем нас забыл.

— Да, я давно уже не получал писем от него. Хотел сам написать, — оказывается, потерял адрес.

Шариф засмеялся.

— Хорошо еще, что хоть имя его не забыли.

Чтобы переменить разговор, Саиди спросил:

— Вы тоже поедете в кишлак?

— Конечно, поеду. Никакой причины нет, чтобы не ехать.

В этих словах Саиди почудилось, будто Шариф хотел сказать: «Если у тебя есть уважительная причина, я тебя оставлю в городе». Он сказал тихо:

— Если я поеду в кишлак, то останусь на второй год на курсе.

— Почему?

— Я сильно отстал.

— По каким предметам?

— По всем основным.

Шариф уставился на него, услышав эту неприятную весть.

— Не можете справиться даже с помощью успевающих товарищей?

— Я не просил помощи.

Шариф рассердился.

— Разве обязательно надо просить? Разве ячейка сама не знает, кто не успевает? Почему вас направили сюда?

Говоря это, Шариф уже протянул руку к телефонной трубке, видно, хотел разбранить секретаря ячейки.

— Подождите, подождите, — удержал его смущенный Саиди. — У меня другая уважительная причина.

— Ну, так бы и говорили! Об этой причине знают в ячейке?

— Нет, я уже прямо вам скажу.

— А нам бесполезно говорить.

Несмотря на этот официальный тон, Саиди все же решил привести свою лживую отговорку.

— Ладно, я скажу в ячейке, но и вам хочу сказать: я болен, врач мне запретил много ходить.

— Что же это происходит? Перед комсомолом стоит такая большая задача, а наш Рахимджан не может ходить?! Вы правду говорите? А я обрадовался, увидев вас в списке; вы — писатель, и я подумал — было бы хорошо, если бы вы записывали все, что увидите и услышите в кишлаке. Ну, ладно, если так, принесите в ячейку справку от врача о том, что вы больны, и они вас оставят.

И Шариф, встретивший его так дружески, принял официальный вид. Саиди попрощался и ушел, решив, что все-таки придется ему поехать в кишлак.

XVII

Ясным зимним утром на трех арбах комсомольцы приехали в кишлак.

Под лучами солнца, пробивавшимися сквозь ветви топей, ослепительно блестели снег на крышах, сосульки, свешивающиеся с желобов, льдинки под ногами. Казалось, то был не зимний день, а утро ранней весны, когда только начинается пахота. Как под мягким весенним солнцем оживает природа, так оживились и люди в кишлаке. На улицах движение, шум, разговоры. Женщины, набросив на голову детские халатики, старались загнать домой босоногих, с посиневшими руками ребятишек, грёзили пожаловаться отцам. Но дети не слушались, прыгали по обледеневшей глине. Девочки с малышами на руках выстроились вдоль дувалов, словно ждали, что появится шествие с карнаями.

Когда арбы с комсомольцами повернули к базару, высокий парень в истрепанной одежде, обтирая рукавом заиндевевшие усы, бросился бежать за ними. Следом за ним шел другой, тоже в рваной одежде, но постарше первого. Высокий парень ухватился за задок арбы, громко приветствовал приехавших, потом спросил:

— Скажите правду, братцы, вы приехали разъяснить или уже раздавать землю?

В арбе все обернулись к нему.

— А нужна вам земля?

— Я батрак, — сказал парень в лохмотьях, жадно глядя на спрашивающего. — Сила у меня есть. Жены, детей нет. Я подал заявление в союз «Кошчи», чтобы мне дали землю. Но там только и делают, что разъясняют насчет Советской власти... А насчет земли помалкивают, неизвестно, когда земля будет... Говорят — скоро...

Невесть откуда появившийся старик догнал его и, толкнув в бок, сказал, приставив кривой палец ко лбу молодого:

— Если на роду тебе суждено иметь землю, ты ее получишь... — И он посмотрел на приехавших в арбе, словно ища подтверждения.

— А кто это знает: суждено — не суждено? Если у меня на лбу написано, что я батрак, можно стереть и написать: дать ему двадцать танапов земли и все.

Все засмеялись. Парень продолжал:

— Какая здесь земля, если бы вы только знали! Если б эта земля принадлежала тому, кто на ней работает... да если б государство дало еще машины, плуги... Если бы мы тогда из фунта семян не вырастили урожай, что и на десяти верблюдах не вывезешь, можете тогда смеяться над нами! Я давно понял, что у Ахунбабаева голова варит, он знает дело. И раз он говорит, что во главе надо поставить бедняка, это значит, чтобы во главе был человек, у которого голова варит! Или я неверно сказал?

Скрипя и ломая льдинки на дороге, арбы подъехали к красной чайхане у самого входа на базар и остановились. Всякий раз, когда открывалась дверь в чайхану, оттуда вырывались белые клубы пара и поднимались к небу. Какой-то человек повел комсомольцев в чайхану. Народу там полно. Чайханщик совсем замотался: то тут, то там раздавался стук крышкой по чайнику, что значило: чайник пуст, надо его наполнить. Курили чилим. Не задерживаясь в чайхане, комсомольцы прошли в конец ее и вошли в маленькую комнату, где находилась комиссия по проведению земельной реформы.

Комиссия работает с утра до полуночи. Каждый день сюда приходит множество народу. За столом — члены комиссии, активисты из батраков, членов союза «Кошчи». Здесь собирают сведения о земле, о сельскохозяйственных орудиях, о людях.

Высокий парень, увязавшийся за арбой, нагнувшись, что-то сказал председателю комиссии. Председатель кивнул, но продолжал разговор. Перед ним сидел и отвечал на вопросы человек средних лет, с головой, круглой, как дыня, худощавый, но крепкий.

— Зовут меня Ибрагим, отца звали Рахматуллой, деда — не помню, как звали. Лет мне тридцать семь. Земли у меня нет — ни клочка. Дайте хоть целину, я обработаю.

— А сколько земли у вашего хозяина?

— Спросите у него самого, — сказал Ибрагим и, покраснев, оглянулся вокруг. Все молча ждали его ответа. Он продолжал неохотно: — Два года, как я не получал никакой платы за работу. Сам не брал. Хотел встать на четыре ноги — жениться...

Председатель рассмеялся.

— Хозяин обещал вас женить?

— Да, конечно, хозяин.

— Ну, ладно, скажите же, сколько у него земли?

— Ну, в одном месте двести семь тапанов, в Курганче — сто семьдесят тапанов. И все.

— Сколько же из них он обрабатывает своими силами?

— Они кетменем не работают. Не могут. А детей у них нет.

— Как зовут вашего хозяина?

— Ниязмат-хаджи, сын Дусмата, разве вы не знаете?

— А что у него есть, кроме земли?

После того, как Ибрагим все рассказал, председатель обмакнул перо в чернильницу и предложил Ибрагиму подписаться под анкетой. Но он не взял ручку, посмотрел на свои пальцы, выбрал тот, на котором было меньше трещин, засмеялся.

— Ладно уж, мулла-ака, приложу только свою печать. И отцы и деды наши пользовались такой печатью. Мы люди неграмотные. Не то, чтобы расписаться, мы и молиться-то не умеем.

Председатель намазал ему палец чернилами, он приложил палец к бумаге и встал. На его место сел другой человек, и опрос продолжался.

Саиди сидел в углу и отчужденно смотрел на всех, точно баран, только что приведенный на базар.

Через два часа приехавшие из города комсомольцы были распределены кто куда. Саиди и еще один комсомолец были оставлены в распоряжении комиссии. Напарник его до самого вечера работал здесь, а Саиди только краснел и томился, потому что чувствовал себя как человек, которому никогда в жизни не приходилось танцевать, а его поставили в круг, и вот он не знает, что делать. К тому же ему, как комсомольцу, приехавшему помогать в проведении земельной реформы, все время задавали разные вопросы, он не знал, что отвечать, и был окончательно сбит с толку.

Среди многочисленных чайрикеров и батраков больше других привлек внимание Саиди Юлчибай, тот парень, который сказал, что заставит стереть написанную ему на роду судьбу батрака и запишет себе двадцать танавов земли. Юлчибай — веселый, открытый, довольно ловкий парень, речь его восхищала Саиди. Юлчибай по вечерам приходил в общежитие и говорил с ним подолгу. Но о чем бы ни начинался разговор, он обязательно сводил его к реформе и засыпал Саиди вопросами, на которые тот не мог ответить.

— Ну, хорошо, — сказал Юлчибаю Саиди в одну из бесед, — вот вы получили землю, стерли со лба батрацкую долю, а вдруг все повернется по-другому, что же тогда?

— Вы хотите сказать: если вернется белый царь?

— Нет, белого царя уже нет в живых... Я говорю о другом: вдруг будет война...

— Ну, что ж... Наше правительство не любит богачей, велит, чтобы каждый сам работал. И, конечно, с правительством, которое не любит богачей, будет воевать правительство, которое богачей любит. Николай тоже любил богачей. Но теперь, если наше правительство скажет: «Ну-ка, Юлчибай!» — мы тут же скажем: «Готовы в бой», — и выйдем с винтовками в руках, вот так, Рахим-жан-ака!

Комиссия работает непрерывно с утра до вечера, а иногда и по ночам. Чайрикеры и батраки, как малые дети с ложками вокруг котла, где варится сладкая каша, ходят около членов комиссии, готовы помогать, чем можно, отвечать на любые вопросы, слушают газеты, всех спрашивают — хотят, чтобы подготовка к реформе шла быстрее. Люди же, у кого много земли, или лгут, или, вызывая злость батраков, притворяются непонимающими, тянут с ответами, отнимают много времени. Однажды

опрос двух людей занял у Саиди два часа. Один из них был дехканин-средняк, другой — богач. Средняк, как вошел в дверь, стал дрожать от страха и, сев на стул и оглядев членов комиссии и собравшихся вокруг батраков-активистов из союза «Кошчи», сразу забормотал, хотя его еще ни о чем не спросили:

— У меня тридцать два танапа. В газетах пишут, что будут отбирать, если больше сорока танапов... А я слышал, что и мою землю заберете. Если так, большая будет несправедливость... Правительство защищает бедняков, а я разве богач?

Председатель комиссии прервал его, сказав, что землю у него не будут отбирать, могут даже прибавить ему. Приложив палец к анкете, дехканин сказал, обращаясь к активистам:

— Вот видите, Кучкарбай, Саттаркул, Юлчибай...вы слышали, что сказал Комиссия-ака...Пусть больше не дают, черт с ней, с землей, только бы нашу не отбирали. Вот вы запомните: они сказали: не тронем твою землю. Обещанное — свято.

Уходя, он все время оглядывался, как будто ждал, что его остановят. После него пришел высокий человек с проседью в свалывшейся бороде, с желтым лицом и красными, как от бессонницы, глазами, в старом потрепанном халате. Он ни на кого не смотрел, как будто стыдился чего-то. В красной чайхане стало тихо, и в дверях появились улыбающиеся физиономии. Юлчибай, сидевший возле Саиди, который готовил бумагу, потянул его за руку и молча показал на сидевшего перед ними человека. Все смотрели на него, ждали, что он скажет.

— Ваше имя? — спросил председатель, макая перо в чернильницу.

— Ниязмат, сын Дусмата...

Юлчибай, словно желая скорее разрушить создавшееся вокруг напряжение, тихо сказал:

— Хаджи-бува, назовите имя полностью, — и вытер себе рот рукавом.

— А ты знаешь? Раз знаешь — говори!..

Председатель взглянул на Юлчибая, потом на Ниязмата и добавил к имени слово «хаджи». Хаджи — это титул, который получает мусульманин, совершивший паломничество в Мекку — такой человек всегда пользовался в кишлаке почетом и всякими привилегиями.

— Сколько у вас земли?

— Приблизительно танапов сорок-пятьдесят...

Юлчибай и стоявшие у дверей зашевелились. Поднялся шум.

— Тише, товарищи, — сказал председатель и продолжал опрос: — Вы сами их обрабатываете?

— Обрабатываем... и чайрикер есть.

— А батраки у вас есть?

— У нас свой человек... не батрак... наш родственник...

— Как зовут этого родственника?

— Я позабыл сейчас... выпало из памяти...

Люди, стоявшие у двери и вокруг стола, сказали в один голос:

— Ибрагим, сын Рахматуллы!

Ниязат-хаджи покраснел, как игрок, все поставивший на карту и проигравший, заволновался, поглядел в лицо говоривших, но не решившись возражать, прицепился к Юлчибаю:

— Грешно человеку быть ябедником. Чего вы добиваетесь таким подстрекательством? Бог каждому воздаст по его нраву... А твой нрав неугоден богу...

Вокруг поднялся смех. Саиди вытащил из сложенных бумаг анкету Ибрагима и прочитал:

— Ибрагим, сын Рахматуллы, батрак бая по имени Ниязат-хаджи, сын Дусмата. У этого бая в одном месте двести семь танапов земли, а в другом — сто семьдесят три танапа...

— Всего триста восемьдесят танапов, — сказал Юлчибай, отвернувшись.

Грянул такой смех, что дом зашатался. Ниязат-хаджи покраснел, как помидор, лицо его покрылось каплями пота, он вскочил и стал бранить Юлчибая:

— Стыдно тебе... ты — червяк... подумай: бог у нас один, пророк один...

— Так пусть и земля, и вода, и все богатство тоже будут одни у нас, общие! — сказал Юлчибай, опять отворачиваясь.

Все опять засмеялись, но Юлчибай уже не смеялся.

Шли дни. Близился уже конец командировки студентов, но никто из тех, что разъехались по кишлакам, не заговаривал об этом. Время от времени в газетах появлялись их заметки о ходе подготовки к реформе. Потом Саиди узнал, что командировку продлили еще на неделю. Это не вызвало в нем протеста, особенного желанья ехать уже не было.

Однажды он вернулся с работы довольно рано — только начало смеркаться. В комнате общежития никого.

Было очень тихо. Слышался только треск и шипение сырых дров в печке. Саиди собирался зажечь лампу, когда кто-то, как кошка, поскребся в дверь. Саиди поспешил открыть.

— Мир тебе, сын льва, — послышался старческий голос, и раньше самого его владельца в комнату со стуком вступил его посох. Саиди почтительно посторонился.

Вошел старик, похожий на высохшую, задубевшую морковку, осторожно ощупывая все вокруг палкой, сел на стул, вытащил из-за пазухи какую-то бумагу и протянул Саиди. Саиди зажег лампу и стал читать. Вот что сумел он разобрать в этом послании:

«К чиновникам, ведающим проведением земельной реформы, обращаемся мы, молящиеся за простой народ, за правительство... Раз правительство решило проявить милосердие к беднякам, ко всем голодным и нуждающимся, мы это благословляем... давать бедным хлеб и одежду — благодетельные, и делать это — долг каждого мусульманина... К этому руку приложил имам мечети под чинарами, я, мулла Мирбаки, сын Миршада».

— Очень хорошо, — сказал Саиди, складывая бумагу. — Я передам это председателю комиссии.

— Сын льва, — сказал имам, прикладывая руки к груди, — вы бы передали это в газету... пусть будет известно людям... И бог вас вознаградит за это... всякая горсть земли в вашей руке станет золотом...

Хрипя, он старался разъяснить, что, с точки зрения религии, хорошо быть великодушным к бедным, в доказательство стал читать стихи из корана и преданий о пророке Мухаммеде. Саиди, чтобы унять его, сказал, что завтра же письмо отправят в редакцию газеты. Имам, все еще бормоча что-то, вышел из комнаты и прямо направился в мечеть, где происходило чтение корана, которое бывает обычно во время мусульманского поста. А там, глядя в глаза своим прихожанам, в том числе и Ниязмату-хаджи, не моргнув, соврал: «Только что меня вызвали представители Советской власти и, приставив мне ко лбу пистолет, потребовали, чтобы я благословил земельную реформу».

XVIII

Саиди, тот самый Рахимджан Саиди, который так не хотел ехать в кишлак, теперь не спешил возвращаться в город.

В первые дни по приезде он мучился, не умея найти себе дело и место, не умея приспособиться к новой для него обстановке, но потом все как-то само по себе устроилось, и настроение улучшилось. Теперь голова его была полна сюжетами, почти готовыми рассказами, которые только и ждали, чтобы их перенесли на бумагу. Все они словно нанизывались на какую-то единую нить, обещали стать романом.

Вечером накануне отъезда Саиди встретил Мурадходжу-домлу. Он глазам своим не поверил, никак не ждал здесь этой встречи. Но нет, это был Мурадходжа-домла! Завернулся в ту самую зеленую шубу на меху, на голове казахская меховая шапка, идет своей утиной походкой. Саиди решил поздороваться, но не знал, нужно ли остановиться, спросить, как здоровье, как жизнь, — не обременят ли эти расспросы такого важного человека. Пока Саиди раздумывал, домла сам подошел к нему с протянутыми руками. Он был приветлив, мягок и ни словом, ни жестом не собирался унижить Саиди. «Наверное, Салимхан ему рассказал обо мне», — подумал Саиди и сразу почувствовал себя персоной. Домла расспрашивал его о здоровье и о делах и, не выпуская его руки, повел за собой куда-то в переулок. Саиди постеснялся спросить, куда он ведет его, да, впрочем, домла не давал ему рта раскрывать, все время говорил сам.

В конце переулка у какой-то невзрачной двери стоял здоровенный парень, приветствовавший домлу низким поклоном. Он поклонился также и Саиди и пропустил их в темный проход. Где-то за стеной заржала лошадь, кто-то успокоил ее: «Хут!» Голос прозвучал глухо, словно из-под земли. Где-то рядом работала соломорезка, и слышно было, как шуршали разрезанные стебли травы. Саиди шел в темноте за домлой и в конце прохода невольно заглянул в открытую дверь хлева. Он почувствовал влажный терпкий запах навоза и увидел, что кто-то с копилкой ходил среди овец. Когда Саиди вышел на открытый двор, в нос ему ударил запах жареного мяса и лука: готовили плов.

В глубине высокого айвана, в нише, выкрашенной желтой краской, горела висячая лампа. У двери в дом домла посторонился и пропустил Саиди вперед. В коридоре было полно резиновых и кожаных галош; за дверью в комнате слышался шум. Когда домла с Саиди вошли в коридор, шум сразу стих, распахнулась дверь в комнату. Появился человек средних лет, с широкой челюстью, большим ртом

и выпуклым лбом, чем-то похожий на обезьяну. Он поздоровался с Саиди и с поклоном пригласил его в комнату. Присутствовавшие — человек десять — выстроились вдоль стен, встретили Саиди тоже с поклонами и указали ему почетное место у сандала. Люди эти не сажались, пока домла с Саиди не уселись на свои места.

Саиди узнал среди них только двоих: того, кто «забыл» имя своего родственника-батрака, — Ниязмата-хаджи и вчерашнего имама. Оба они старались не смотреть на Саиди, видно, не хотели обращать на себя его внимание. Имам весь сжался в своем углу. Ниязмат-хаджи посидел немного у стены и вышел. Все словно застыли в молчании. Слышно было, как стучали часы у кого-то в кармане. Ниязмат-хаджи внес блюдо с пловом. Человек, похожий на обезьяну, снял с полки черный кувшин, налил всем виноградного вина, после чего все, наконец, заговорили — кто о чем.

Только в полночь Саиди попросил разрешения уйти. Все смотрели на Мурадходжу-домлу и ждали, что он скажет.

— Уже уходите? — удивился домла и встал. — А я ведь и приехал, узнав, что вы здесь. Думал, что мы попируем несколько дней... Разве уже кончили вашу работу?

— Нет, но университет вызывает.

— Сказали бы, что хотите еще поработать недельку-другую.

Саиди ничего не ответил, простился и ушел. Похожий на обезьяну человек, провожая его до ворот, сказал:

— Я бы проводил вас до дома, но, признаться, у нас в кишлаке много всяких сплетников.

Саиди поблагодарил и, плотнее запахнув пальто, пошел по улице в сторону базара.

В общежитии было темно, товарищи все давно спали, печка потухла, было холодно. Саиди разделся в темноте, залез под холодное одеяло и сжался в комок, охватив руками колени.

XIX

— Давай, Мунис, ходим на собрание интеллигенции, — сказал Саиди в один из январских дней, спускаясь по университетской лестнице. — Соберется вся городская интеллигенция. Председатель исполкома будет делать доклад. Пойдем, слушаем.

Шел снег, падал крупными хлопьями. Мунисхон спря-

тала лицо в меховой воротник пальто и уже протянула руку Саиди, чтобы он помог ей пройти по скользкому тротуару, но услышав такое предложение, опустила руку и остановилась на последней ступеньке, словно хотела вернуться.

— О, Рахимджан,— сказала она,— ну что ты говоришь?! Всегда ты выдумываешь немыслимые вещи... Ведь сидеть на собраниях, даже на которых мы обязаны присутствовать,— хуже горькой хины, еле досиживаем, глаза слипаются... а ты хочешь, чтобы мы пошли на это собрание добровольно?

— Может быть, там будут говорить о моей статье против Мурадходжи-домлы,— отвечал Саиди и, поднявшись на ступеньку, свел Мунисхон с лестницы.

Мурадходжа-домла напечатал в областной газете небольшую статью, в которой изложил свои мысли о земельной реформе. Он начал статью с истории области, с климатических условий — откуда дует ветер и сколько выпадает снега в горах, и все это так связал с земельной реформой, что получалось — для проведения ее нужны долгие годы. Статью напечатали, потому что домла в это время работал в редакции. Статья вызвала возмущенные отклики, получено было четыре резких отповеди. В одной из них Кенджа даже назвал домлу контрреволюционером, а все остальные авторы отповедей доказывали, что земельная реформа — дело ближайшего будущего. Ни одну из этих статей домла не показал редактору. Более того, он от имени редакции написал письмо в центральные газеты с просьбой не печатать возражений на его статью, а направлять их в редакцию областной газеты, так как вопрос этот будет решаться в области и освещаться на страницах областной газеты, и подsunул это письмо для подписи редактору среди других писем, рассылаемых корреспондентам по поводу земельной реформы. Письмо было подписано и тут же отправлено.

В тот же вечер Аббасхан пригласил Саиди к себе домой и сказал, что знает о его поездке в кишлак и о том, что о нем говорили на факультете, добавив многозначительно: «Я вообще за вами слежу и все о вас знаю».

А дело было в том, что на бюро комсомольской ячейки, когда обсуждалась работа Саиди в кишлаке, был сделан вывод: «У Саиди мало качеств настоящего комсомольца». И Саиди лишился бы комсомольского билета, если бы присутствовавший на бюро представитель райкома Шариф не предложил «еще раз проверить его, дав ему

какое-то задание». Нашлись люди, которые захотели проверить, кто такой Саиди и как он попал в университет. Аббасхан знал все это и рассказал Саиди, а потом спросил, читал ли он статью Мурадходжи-домлы. Саиди читал эту статью.

— А не выступить ли вам против этой статьи?— спросил Аббасхан.— Если бы вы написали в газету против нее, разговоры о вас на факультете прекратились бы.

Саиди согласился.

План статьи наметил сам Аббасхан. Саиди трудился над ней до половины второго ночи, подписал ее псевдонимом и вручил Аббасхану, лежавшему с книгой на диване. Аббасхан прочел, кое-что исправил, зачеркнул псевдоним, поставил полностью имя Саиди, велел переписать статью набело и отдать прямо в руки редактору. Не прошло и двух дней, как статья Саиди под скромным заголовком появилась на последней странице газеты.

Саиди не видел Мурадходжу-домлу с той встречи в кишлаке. Теперь на собрании интеллигенции Мунисхон показала ему домлу, сидевшего где-то в середине зала. Он был красный и потный, словно только что из бани. Выступавший Кенджа так закончил свою речь:

— Нужно отличать ошибку от заблуждения. А тут не ошибка и не заблуждение, а преступление против интересов трудового крестьянства.

Зал ответил бурной овацией. Мурадходжа-домла несколько раз вскакивал и вновь садился, судорожно тянулся вперед, как утопающий из воды, и среди общего шума слышались его крики:

— Мне слово! Дайте мне слово... я — революционер...

Председатель собрания, Салимхан, тщетно звонил колокольчиком, чтобы утихомирить зал, но аплодисменты не утихали. Тогда он вышел вперед, встал перед столом президиума и поднял обе руки. Шум прекратился.

Воспользовавшись этим, домла вскочил и заорал:

— Дайте мне слово! Я — за революцию!

Опять поднялся шум. Требовали, чтобы домле не давали слова.

Слово получил сидевший в последнем ряду старый учитель с острой бородкой, в куртке с отложным воротником, поверх которой был надет стеганный халат.

— Люди добрые!— начал он, засучивая длинные рукава халата.— Что такое земельная реформа? Земельная реформа — естественный результат Октябрьской революции, ее продолжение. Значит, эта реформа — тоже своего

рода революция, ее развитие. Наша страна — страна земледельческая. Байские хозяйства составляют три процента всех хозяйств области, но у каждого из них по пятьсот-шестьсот танапов земли. А на долю остальных девяноста семи процентов достаются или непригодные клочки земли или вообще ничего не достается. Это знает каждый из нас. И Мурадходжа знает это не хуже нас с вами. И кто не понимает, что земельная реформа должна улучшить экономическое положение нашего государства? А зная все это, Мурадходжа выступает против реформы — нехорошо это... Как говорит товарищ Кенджа, мы, интеллигенция, должны приветствовать и всячески поддерживать это начинание коммунистической партии. Вот скоро будут зимние каникулы. Я, например, готов в дни зимних каникул проработать пятнадцать-двадцать дней для подготовки реформы и обязуюсь, насколько хватит сил, выполнять всякое задание партии.

И опять от аплодисментов задрожал зал. Председатель, не обращая внимания на множество поднятых рук, кивнул в сторону Аббасхана, предоставляя ему слово. Аплодисменты еще не стихли, когда он поднялся на трибуну и заговорил:

— Несомненно, земельная реформа нужна, это дело хорошее. А если находятся люди, которые говорят, что она не нужна, что это плохо, — пусть себе говорят. Если бы не было противников, не было бы споров, а без спора хорошее дело не делается. Здесь сказано много слов в защиту земельной реформы — и это хорошо, потому что, если бы не были сказаны эти слова, некоторые не узнали бы того, что узнали, а те, кто сомневались, продолжали бы сомневаться. Но что вызвало эти выступления в защиту реформы? То, что Мурадходжа-домла не понял ее, сказал, что это плохо. Но разве здесь место для всяких философствований, рассуждений о том — ошибка это или преступление...

— Это не философствование! — закричали из зала.

— Хорошо, допустим... Но вот есть ответная статья Саиди. Если бы я знал автора лично, может быть, я в чем-то с ним поспорил... Но все равно, это достойный ответ Мурадходже-домле. Два свойства есть у человека в отличие от животного: уметь излагать свои мысли и уметь признавать свои ошибки. Человек способен ошибаться. Но мы хотим верить, что Мурадходжа-домла признает свою ошибку и в дальнейшем в рядах нашей красной интеллигенции будет бороться за интересы трудящихся.

Весь зал смотрел теперь на домлу. Прошло несколько томительных секунд, пока он поднялся.

— Я признаю,— сказал он,— я ошибся. Но я не говорил, что земельную реформу не нужно проводить. Вы не можете доказать, что я это говорил. Я сказал, что ее трудно проводить. А что трудно — это верно... Будет трудно, пока все трудящиеся и вся интеллигенция не будут помогать... Я был в кишлаке, и я объяснял в союзе «Кошчи» пользу земельной реформы..

Тут Саиди испугался, что домла назовет его как свидетеля, и спрятался за чью-то спину. А домла продолжал:

— Верно сказал Салахиддин: скоро будут каникулы... и мы обязательно пойдем по пути, указанному партией... Трудно мне угнаться за молодыми... Сорок лет — вершина жизни, потом человек идет под гору, а старость — второе детство... человек по глупости делает ошибки... Конечно, уж больше я не буду...

Никто уже его не слушал. Тем дело и кончилось. И следующий оратор заговорил о задачах интеллигенции в подготовке к проведению реформы — о чем не успел сказать докладчик.

Мурадходжа-домла вытер пот с лица, поднял упавшую шубу и, не обращая внимания на соседей, стал ее отряхивать. Оглядываясь, он увидел Саиди, стоявшего у стены рядом с Мунисхон. Домла подошел к нему тихо и коснулся его руки своей мягкой большой рукой. Внимательно слушавший оратора, Саиди вздрогнул.

— Почему не выступаете в прениях? — шепнул домла.

— А что мне говорить? — сказал Саиди, не глядя на домлу.

— Ну, хоть задайте вопрос. Вам надо показаться на таком собрании, здесь столько достойных людей... Вон видите Кенджу?.. Я вам напишу два вопроса, и вы спросите.

Саиди кивнул. Домла отошел назад и через минуту сунул ему в руку бумажку. На бумажке было написано:

1. Может ли человек передать свою землю кому захочет?

2. Будут ли отобраны земли у городских учителей?

Саиди прочел и шепнул домле:

— Такая досада... Я должен сейчас уйти... у нас на факультете тоже назначено собрание...

Домла вернулся на свое место. А Саиди тихонько толкнул Мунисхон и показал глазами на дверь. Это очень понравилось Мунисхон — и вот они на улице под ярким электрическим фонарем. Снег уже не идет, только ветер

сметает его с крыш, с тротуаров и бросает в окна, в стены.

Саиди взял Мунисхон под руку. Довольно долго они шли молча.

— Знаешь,— сказала вдруг Мунисхон,— если бы не эта твоя статья, тебя исключили бы из комсомола и, может быть, выгнали с факультета... Я не говорила тебе — не хотела огорчать... Среди твоих комсомольцев многие ворчат на тебя...

— Кенджа сказал же, что статья эта написана как будто против Мурадходжи-домлы, а на самом деле защищает его. Что ж, он правильно понял.

Мунисхон остановилась на углу своего переулка. Здесь было темно.

— Ну, дальше не провожай меня, Рахимджан, сам знаешь, если кто увидит нас...

Саиди взял ее теплые мягкие руки в свои и не знал, что сказать.

— Вот ты всегда так, Мунис,— выговорил наконец.— Я пройду еще двадцать шагов...

И когда Мунисхон согласилась, он отсчитал двадцать шагов.

XX

Назавтра, придя к Мунисхон в назначенное время, Саиди открыл дверь, но войти не решился: в доме было много народу. Сквозь плавающий по комнате табачный дым он увидел Салимхана, сидевшего на полу по-турецки. Салимхан встал, вышел к нему и втянул его в комнату. Саиди, как полагалось, учтиво поздоровался с незнакомыми людьми и сел на стул у стены.

Молодой красивый человек, сидевший у окна, все время закрывал себе нос и рот, чтобы избавиться от дыма,— это был заведующий отделом агитации и пропаганды уездного комитета партии, он ответил на приветствие Саиди кивком. Один из сидевших на диване был секретарь областного исполнительного комитета, другой — начальник водного хозяйства области. Остальных Саиди не знал.

Все они были похожи на людей, которых застигла большая беда, и они ищут способов от нее избавиться, но еще не решили, какой из них надежнее. Секретарь исполкома даже не заметил, что пепел от папиросы упал ему на пиджак; выпуская клубы белого дыма, он нетерпеливо взглянул на Салимхана, как будто хотел сказать: «Если у этого человека дело к тебе, быстро кончай с ним и отпу-

сти его». Саиди это понял лучше Салимхана. Но Салимхан закурил новую папиросу и сказал, представляя гостям Саиди:

— Это один из наших молодых талантливых писателей, студент... комсомолец. Ну, что, товарищ Саиди, я слышал, что вы пишете роман, когда же вы его закончите?

Саиди покраснел и опустил глаза.

— Наш уважаемый товарищ пишет роман о земельной реформе, — повторил Салимхан, прерывая одного из гостей.

Один из них жаловался на трусость какого-то писателя. Не обращая внимания на слова Салимхана, он продолжал говорить секретарю исполкома:

— Я сам проверял. Нашел людей, о которых идет речь в рассказе. Быстро нашел, потому что я знал, кто выдавал дочь замуж насильно. А трусость писателя в том, что и этому человеку, и девушке, и будущему жениху он дал вымышленные имена. Ну, ладно, пусть так. Я вызвал к себе девушку, ее отца, жениха, допросил. Девушка все рассказала. Потом я вызвал писателя. А он говорит: «Нет, я не знаю этих людей. Я вовсе не о них писал. Я писал рассказ, а не фельетон». Полюбуйтесь-ка на него! Но, как говорит пословица: если истец не настаивает, — судьбе нечего делать, пришлось мне прекратить дело. И я решил: самые большие трусы среди интеллигенции — писатели.

Салимхан рассмеялся. Другие же вовсе не заинтересовались тем, что рассказал следователь, но это объяснялось скорее не его нелепой жалобой, а какой-то общей растерянностью, которая ощущалась среди присутствующих. А следователь оглядывал всех с гордостью, как будто сделал открытие. Саиди молчал, но его подмывало дать отпор этому невежде. Салимхан опять засмеялся, сказал: «Да, смешное недоразумение», — и, обратившись к начальнику водхоза, заговорил о чем-то другом. Следователь посмотрел на него с недоумением, ожидая разъяснений, взглянул на Саиди.

— А по-моему, тот писатель ответил вам правильно, — не выдержал Саиди. — Проверить можно фельетон, а рассказ нельзя проверить. Или, уж если хотите, это делается не так. Правдивость рассказа проверяет жизнь в широких масштабах. Ведь писатель не пишет рассказ о каких-то определенных лицах, положительных или отрицательных. Можно найти в стране сотни, тысячи людей, похожих на описанных в удачном рассказе. Если вы захотите при-

влекь к суду отрицательных героев литературы, вам придется судить тысячи обвиняемых...

Следователь прервал его:

— Разве, когда пишут, не рассказывают о подлинных происшествиях? Или все выдумывают?

— Пишут не об одном случившемся происшествии, а о происшествиях, которые случались, случаются и могут случиться.

Следователь не понимал. Саиди пришлось объяснять все сначала. В спор вмешался и секретарь исполкома. Он поддержал Саиди и добавил, что литература не является прямым отражением жизни. Следователь опять ничего не понял, широко зевнул и улегся на диване.

— Вот вы, оказываясь, пишете роман, — говорил усталым голосом секретарь исполкома Саиди, — в нем вы хотите изобразить, как проводится земельная реформа. Удастся ли вам сказать об этом правду? Сомневаюсь... Потому что, если вы покажете, что реформа — это плохо, ваш роман не напечатают, а если вы будете уверять, что это хорошо... тогда вам даже не нужно искать доказательства... Не так ли?

— До того, как я побывал сам в кишлаке, я тоже думал, что реформа — это принудительная мера. Но я увидел своими глазами... Для тех, кому реформа даст землю, она хороша, а для тех, у кого отберут землю, — она — плохая...

Собеседник хотел что-то возразить и уже открыл было рот, но не успел вымолвить слова, как распахнулась дверь: на пороге стоял Мурадходжа-домла, запахнувшись в свою зеленую шубу. Взглянув на сидящих в комнате, он растерялся. Салимхан пригласил его войти и заговорил с ним так, будто давно его не видел. А все присутствующие так посмотрели на Салимхана, словно хотели спросить: «Что здесь нужно этому человеку?» Салимхан был так холоден с домлой, что Саиди стало неловко.

— Я пришел по делу, — сказал домла, когда воцарилось неловкое молчание. — Один человек принес мне документы из архива эмира бухарского, уцелевшие после его бегства. Просит за них недорого. Если отдел народного просвещения заинтересуется, я их приобрету. Там есть разные указы, приговоры. Если захотите посмотреть, могу принести...

Салимхан, который явно был недоволен, что домла появился некстати, теперь, когда тот так ловко вышел из положения, повеселел. Придуманный домлой повод был тем более удобен, что, если бы понадобилось, домла мог представить этот архив.

Так Саиди и не пришлось продолжить интересный спор.

Вскоре пришла Мунистон, и Саиди, улучив минуту, шепнул ей: «Найди предлог и выведи меня отсюда». Мунистон вышла и, найдя предлог, еще более удачный, чем домла, увела Саиди в другую комнату. Там он, взволнованный, рассказал ей, о чем шел разговор. Мунистон прикрыла дверь поплотнее, села рядом с Саиди и зашептала ему на ухо:

— Эти люди — ответственные работники области, их семь человек. Они не согласны с планом земельной реформы и собираются подавать заявление в партийные органы. Уговаривают и брата присоединиться к ним. Вчера у нас был Аббасхан, сидел с братом до полуночи. Он не советует брату присоединиться к этим людям, говорит: «Тебя могут исключить из партии. Найди отговорку, объясни, что не можешь к ним присоединиться. Других подбивай на это дело, а сам стой в стороне». Сам-то Аббасхан против реформы, говорит: «Из-за этой реформы мы потеряем кишлак». Ну, он, наверное, хочет сказать, что это плохо... А брат мой держит пока нейтралитет.

— А разве он против? — удивился Саиди.

— А ты сам?

— Я сначала был против, а теперь — за.

— А мне все равно. У нас нет земли в кишлаке. И у Аббасхана нет земли.

В голове Саиди опять все смешалось. Как же так? Члены партии, ответственные работники, оказывается, против земельной реформы, а заведующий отделом агитации и пропаганды уездного комитета партии знает это — и молчит! Саиди вспомнил о начатом романе и почувствовал, что у него нет сил, чтобы продолжать его. Вдруг вспомнились ему слова Мурадходжи-домлы: «Реформа разрушит узбекский кишлак». Сердце у него сжалось, он тяжело вздохнул; захотелось пожаловаться кому-то, облегчить душу, но и сам не знал, на что же бы мог пожаловаться.

Через неделю Саиди прочел в передовице центральной газеты такие слова:

«...Перед Коммунистической партией Узбекистана стоят громадные задачи, требующие как никогда сплоченности рядов. В такое время несколько ответственных работников области подали заявление об уходе с работы, что является выражением необоснованного страха перед принципиальной позицией партии в классовой борьбе и направлено на разрушение единства партии. Партия даст

этому достойный отпор. В рядах партии, которая, преодолевая трудности отсталой экономической системы, ведет трудящиеся массы к социализму, не должно быть таких колеблющихся элементов, ставящих свои интересы выше интересов партии...»

В течение нескольких недель газеты обсуждали выступление ответственных работников. Но постепенно об этом писали все меньше и меньше, и на первое место вышли другие заботы, зазвучали другие голоса: «Земельная реформа проводится успешно», «Те, кто скрывает свою землю,— враги трудящихся!», «Не уставать вам, герои земельной реформы!»

XXI

Саиди стал частым гостем в доме Салимхана. У него всегда находилось для этого время, и не нужно было искать никаких особенных поводов для посещений.

Вообще у Саиди появилось много новых друзей-приятелей. Среди них были ответственные работники, и юристы, и его бывшие учителя, и видные поэты и журналисты. Многие его хвалили, особенно, когда вслед за «Каландаром» появилась повесть «Молодые годы мира» — о ней много говорили, и Мурадходжа-домла даже шутил: «Ну, а теперь напишите о нас, грешных,— о последних годах старого мира!»

По пятницам, когда компания собиралась у Салимхана, конечно, всегда выпивали. Известно, что первая рюмка оживляет беседу, вторая вызывает желание выпить третью, а третья понуждает положить руку на плечо соседу и излить перед ним душу. Когда же опьянение достигает этой стадии, выпивка обычно кончается. В таких случаях Саиди почти всегда оказывался рядом со своим бывшим учителем Махмуджаном-эффенди.

Высокий, очень худой, с помятым лицом и мутными, всегда слезящимися глазами, он говорил пространно, тонким голосом, часто повторяя: «Вам понятно? Ясно я говорю?»

— Человек получает от жизни лишь незначительную часть того, что ему требуется. К тому же неразвитый человек и требует очень мало, а получить и это малое ему не удастся. Это и порождает жестокость, зависть, страх, войны и все прочее. В этом вопросе я не согласен с Марксом. Маркс говорит, что адские условия жизни одних являются основой для райской жизни других. Нет, человечество просто еще не созрело, не достигло совершенного

тия. Придет время — и человек достигнет своего совершеннолетия, выработает свой, сейчас еще не установившийся характер. Для этого нужно время, нужен покой. Разделение людей на классы нарушает этот покой. Вам понятно? Ясно я говорю?..

Почему-то никто не возражал, даже Аббасхан, считавший себя марксистом. И Саиди, принимая Махмуджана-эффенди за безвредного, безобидного человека, тоже не оспаривал его доводов; если же он иногда пытался возражать, Махмуджан-эффенди говорил ему мягко:

— Если у нас с вами разные убеждения, если вы со мной не согласны, все-таки выслушайте меня, а потом посмотрим...

Когда Октябрьская революция нарушила милый сердцу Махмуджана-эффенди покой, ветер классовых битв унес, как осенние листья, все богатство его отца — типографию, несколько гостиниц и многое другое. Махмуджан-эффенди был в это время за границей. А к его возвращению в стране уже укрепилась власть, непохожая ни на какую другую на земле, — Советская власть. Панисламистская организация «Шураи-ислам», с которой он был связан, исчезла, оставив по себе только злую песню, сложенную народом:

Казы Камалу, благословившему войну! — смерть!
Этому развратнику, сбившему народ с пути, — смерть!
И всем подлецам, вступившим в «Шура», — смерть!
И горлодеру-ослу Абдурашиду-аксакалу — смерть!

Махмуджан-эффенди правильно оценил обстановку и с остатками «Шураи-ислама» спрятался в глухую щель. Правда, из этой щели все же шли в разные стороны дорожки, и если осторожно по ним идти, можно было надеяться кое-куда пойти. В это время ему протянул руку помощи бывший турецкий офицер Исхак-эффенди, заведовавший тогда областным отделом народного образования. Он сделал его воспитателем «тюркских детей» в школе. Исхак-эффенди был убит дехканином в каком-то кишлаке, а Махмуджана-эффенди посадили в тюрьму по обвинению в растлении малолетней. Его должны были расстрелять, но кто-то вступился за него. Он вышел из тюрьмы и вскоре вновь был арестован. И снова его освободили. Его выбрасывали, как мусор в просеиваемой сквозь решето пшенице, но всякий раз ему удавалось уцелеть. Словом, он был похож на человека, попавшего в водоворот: то тонул, захлебывался, то вновь выплывал и прибывался к берегу,

Теперь Махмуджан-эффенди преподавал литературу и был крайне недоволен своими занятиями и своей жизнью. Человека больше всего гнетет отсутствие надежд на будущее. Потерявшие надежду люди или спиваются или становятся отъявленными богомолами. Махмуджан-эффенди не чурался ни первого, ни второго.

Однажды на вечеринке в доме Салимхана появились сотрудники литературного журнала Ильхам и Якубджан. Якубджан за весь вечер не произнес ни слова. В другой раз, когда выпито было особенно много, он сказал только: «Оставьте меня, у меня голова кружится!» Но как-то в один из четвергов Саиди случайно оказался рядом с ним за столом и отдал ему свою очередную пиалу с вином. И вот этот парень в следующую пятницу на вечеринке у Мурадходжи-домлы, когда рюмки с вином дважды обошли вокруг стола, вдруг выдал Саиди весь свой запас слов.

— Кенджа — плут, — говорил он, — ведь тогда он сам был во всем виноват, а у редактора свалил всю вину на других. Ваш «Каландар» давно уже был бы напечатан — я сам заказывал к нему иллюстрации. Но Кенджа унес рассказ и, сколько я ни спрашивал, все не возвращал. Потом — смотрю, ваш рассказ уже в корзине. Я вынул его из корзины и добился у редактора разрешения печатать. А Кенджа, оказывается, потерял уже готовые рисунки. Да вы же сами видите, что он за человек: прибавил к вашему рассказу главу и только испортил рассказ. Это и Аббасхан знает, и Ильхам то же скажет.

Ильхам, действительно, подтвердил все это.

Нетрудно было убедить Саиди, что эти все его новые друзья желают ему добра. Ведь после того, как он сошелся с ними ближе, он начал понемногу выходить в люди. Хоть и не часто, его стали печатать. Из его тетрадки стихов Ильхам сам выбрал и напечатал в журнале стихотворение. Ему подсказывали темы, давали советы и всячески подчеркивали свое желание помочь. Они все больше отдаляли его от Кенджи, в конце концов Кенджа становился чужим, непонятным, пока однажды вновь не появился на его пути. Но теперь он появился как враг.

А Саиди верил своим новым друзьям и рад был доказать это на деле.

XXII

Ильхам был первым, кому Саиди доказал свою доброжелательность.

Однажды, спускаясь со второго этажа университета

вместе с Мунисхон, Саиди столкнулся с каким-то юношей, который с радостным возгласом «Рахимджан-ака!» протянул ему руку. Саиди узнал его. Это был Теша, с которым он учился в школе. Саиди тотчас вспомнил, как Теша не мог проснуться, когда все вставали на предрассветную трапезу во время поста, и как воспитатель — турецкий офицер ворчал: «Эй ты, подымайся, не то стукну!»

— Какими судьбами? — удивился Саиди.

— Учимся на рабфаке, — скромно потупившись, отвечал Теша.

Мунисхон, сойдя с лестницы, уже ждала Саиди у входа. Саиди не знал, о чем говорить с этим парнем, ничего не оставалось, как пригласить его к себе домой. Теша сказал, что часто встречал его имя в печати, но никак не удавалось увидеться с ним. Саиди дал ему свой адрес.

Через два дня Теша пришел к Саиди, тот встретил его приветливо. Скромный, мягкий юноша так понравился Саиди, что они проговорили до поздней ночи.

Теша стал приходить к Саиди часто. Он приходил, каждый раз надеясь узнать что-то новое, и никогда не обманывался в этом. А Саиди, после его ухода, говорил себе: «Вот человек, который жаждет знаний». Однажды Теша пришел посоветоваться о статье, которую задумал написать. Обычно он никогда не спорил с Саиди, всем своим видом показывая, что у него нет ни сил, ни знаний, чтобы ему возражать, но на этот раз между ними разгорелся спор. Теша как будто соглашался с тем, что говорил Саиди, но как только доходило до выводов, он качал головой. Саиди, наконец, рассердился:

— Хорошо, так чего же вы хотите?

— Я хочу доказать, что Ильхам-домла учит нас неправильно. Мы собираемся обсудить этот вопрос на заседании комсомольской ячейки. А пока я хочу эту мою статью отдать в газету.

— Что ж, отдавайте, может быть, и напечатают...

Не прошло и трех дней, как Ильхам подал заявление руководству рабфака с просьбой освободить его от работы, объясняя это тем, что живет далеко. Так Саиди доказал Ильхаму свое дружеское расположение. С тех пор Саиди еще больше сблизился с Ильхамом. А Теша перестал бывать у Саиди.

Весенним вечером, сидя в городском саду за кружкой пива, Ильхам говорил:

— Вот вам тема рассказа. Вдова с тремя маленькими детьми. В доме ничего нет — не на что купить хлеба. Зима.

Вечер. Сильный ветер. Женщина ведет детей на улицу. Но равнодушные люди еще сильнее зимнего холода. Женщина падает и умирает, дети у нее на груди, их заносит снегом. Хотите — убейте и детей, или пусть их возьмет к себе прохожий, у кого нет детей.

— Это неестественно, — сказал Саиди, — так не бывает в жизни.

— Почему же? Если изобразить это мастерски, — картина может произвести впечатление. Получится художественно...

Саиди не понравилась эта тема. Но через неделю Ильхам принес ему уже план этого рассказа. В рассказе должно было быть три главы: жизнь вдовы с детьми, зимний холод и холод людской, и помощь собеса.

— Последняя глава нужна с политической точки зрения, а вообще она не имеет большого значения. Покажите свою силу в двух первых главах — пусть это будет художественно.

Известный критик Аббасхан одобрил замысел.

— Если вас будут критиковать, — тем лучше: станете известным. Ведь не так-то просто быть раскритикованным. А раз вас будут ругать, — у вас будет больше читателей.

Саиди написал рассказ и отдал Ильхаму. Через два дня рассказ, уже отредактированный, оказался у Аббасхана. Последняя глава, которая у Саиди занимала почти половину текста, была зачеркнута, от нее осталась одна фраза: «После долгих скитаний дети попали в детский дом и поняли, что это их единственное прибежище».

Аббасхан обещал напечатать рассказ в ближайшем номере журнала, но вышло уже три номера, а рассказ все не появлялся. Оказалось, он вызвал крупную ссору между Кенджой и Аббасханом. Саиди узнал об этом от Мунисхон, и неприязнь его к Кендже еще увеличилась.

XXIII

С тех пор, как Теша перестал его навещать, Саиди всякий раз, когда приходилось ему проходить через рабфакковский зал, чтобы подняться к себе на факультет, чувствовал такое стеснение и раздражение, что ему стоило много сил и нервов появляться в университете. Ему постоянно казалось, что все люди, встречавшиеся ему по дороге, смотрят на него и шепчут: «Вот тот самый Саиди», — словно где-то в углу зала идет уже комсомольское собрание, и сейчас ему скажут: «А ну-ка, товарищ Саиди,

дайте отчет о своем поведении!» Он стал тяготиться занятиями на факультете, готов был полжизни отдать тому, кто как-нибудь незаметно избавил бы его от университета и только выдал ему на руки комсомольскую учетную карточку.

Наступил июль, и должны были начаться экзамены. Саиди вовсе перестал ходить в университет. Мунистон говорила старосте, что Саиди болен. Но председатель комиссии по проверке успеваемости студентов всякий раз, когда видел Мунистон, спрашивал ее о Саиди. Он так беспокоился о нем, что Мунистон стало казаться, будто он ее подозревает в чем-то. Тогда она объявила, что ничего не знает о Саиди и не имеет к нему никакого отношения. И ее перестали спрашивать о нем.

А Саиди, когда Мунистон заходила к нему и рассказывала о том, что делалось на факультете, говорил, улыбаясь печально:

— У меня все время так неспокойно на сердце, как будто со мной должно случиться что-то ужасное. Я не уверен, что причина этого беспокойства — мои факультетские дела и комсомол. Верно, есть какая-то еще серьезная причина.

— Я сказала, что ты ходишь к врачу. А то ведь они могут прислать к тебе врача. Сейчас к тебе прикрепili двух старшекурсников, когда поправишься, они будут тебя готовить к экзаменам...

Друзья Саиди не одобряли его желания оставить университет. Махмуджан-эффенди, правда, не находил в этом ничего страшного, но Мурадходжа-домла отругал его. Аббасхан прочитал Саиди целое нравоучение и никак не советовал бросать факультет. И Салимхан говорил то же самое. Но Саиди отмалчивался, и тогда Аббасхан немного смягчился:

— Если вы чувствуете, что не можете оставаться на факультете, тогда не насилуйте себя. А то ведь дело может кончиться исключением из университета, тогда вам будет плохо. Но в комсомоле постарайтесь удержаться. Без этого не пройти в партию.

В сущности, что связывало Саиди с университетом? Только Мунистон. С самого начала факультет стал мостиком между нею и Саиди, но это был шаткий мостик, и Саиди мечтал, что он придет к Мунистон по другому мосту — славы, известности, богатства. Раньше он даже себе боялся признаться, что любит Мунистон, потому что, если бы временный мостик, связывавший их, разрушился, она оказалась бы в другом, недоступном ему ми-

ре, и для Саиди перестали бы существовать все прелести земли. Но теперь он был своим в ее доме, и будущее их казалось ему надежным.

То, что Саиди связывает с Мунисхон любовь, было уже известно его друзьям. Махмуджан-эффенди не раз говорил шутя: «От двух прекрасных появится третий... О, пусть потомки ваши будут прекрасны!»

Аббасхан не принимал участия в таких шутках, не давал понять, что многое зависит от него, Аббасхана. И Саиди был благодарен ему за это.

Что из того, что Саиди не будет учиться в университете? Он лишь перестанет раздражаться, нервничать, ведь и без диплома можно сделаться известным писателем. Теперь, чтобы видеться с Мунисхон, не обязательно готовиться вместе к занятиям,— он может видеть ее в доме брата. И, может быть, скоро Аббасхан соединит их руки и отведет за свадебный занавес...

Как и когда сделает это Аббасхан, Саиди не знал, но верил, что он это устроит, ведь он всегда исполнял свои обещания. Он говорил Саиди: «У тебя есть талант, и я его открою». И, действительно, открывает его, помогает ему войти в литературу. Он познакомил Саиди со многими выдающимися людьми. Саиди встречается с ними, беседует, даже выпивает. Он близок с теми, кто раньше казались ему недоступными, исключительными личностями. Раз это так, почему же Аббасхану не помочь Саиди жениться на Мунисхон. Да, может быть, он уже переговорил с Салимханом, и дело уже слажено...

XXIV

Как-то утром, в один из июльских дней, после завтрака, Саиди сидел у окна и лениво переворачивал страницы книги. Вдруг кто-то позвал его: «Рахимджан!»— и быстро прошел к воротам. Саиди выглянул в окно, увидел спину человека и сразу узнал: это был почти забытый им друг Эхсан. Саиди весь сжался, ему совсем не хотелось видеться с Эхсаном. Появление Эхсана сейчас было для него тяжелее перехода через рабфаковский зал. Но в следующее мгновение Эхсан был уже в комнате и долго не выпускал Саиди из своих объятий. Как плохой актер самодеятельности, выступавший без репетиций, не зная роли, Саиди изобразил на лице радость. Ему самому было удивительно, что он не находил искренних слов для Эхсана — ему не о чем было говорить с ним. Он заставлял Эхсана самого говорить, рассказывать и все время боялся,

что тот остановится. До вечера Саиди мучился, и только когда Эхсан спросил его, чем кончилась его внезапная любовь к девушке, с которой встретился в университете, ему стало легче, потому что это была живая тема для разговора.

— Эта девушка — горящий уголек, а я — кисейная занавеска перед ним, — сказал Саиди, когда они уже улеглись в постель. — Я и не сгорю и целым не останусь, только пожелтею. Буду желтеть и желтеть и совсем истлею... Она меня не любит... Правда, в последнее время один человек зажег во мне искру надежды. Но я все еще не могу поверить...

— Нет, она не может вас не любить. Вам кажется, что не любит, потому что вы ее так сильно любите. Что это за девушка, я хотел бы на нее посмотреть.

— Завтра новый спектакль в театре, мы с вами пойдем, и, если она придет, я вам ее покажу. Она должна прийти.

На другой день в театре, во время антракта, Саиди тихо взял руку Эхсана и приложил к своему сердцу. Сердце его билось сильно. Эхсан еще не успел спросить, в чем дело, как Саиди указал ему на девушек, входивших в буфет. Эхсан все понял.

— Я не видел ее целую неделю, — сказал Саиди. — А когда вижу, всегда вот так волнуюсь... Только услышу ее голос, забываю все...

Они сели за столик, неподалеку от девушек, которые пили лимонад и весело болтали. Саиди поймал взгляд Мунисхон и поздоровался с ней глазами. Мунисхон ответила тем же. Тогда Саиди показал Эхсану Мунисхон.

— Я ее видел, — сказал Эхсан, когда девушки удалились после третьего звонка. — Она была тогда еще девочкой. Знаете, даже некрасивая девочка расцветает, когда подрастает. Но эта была и тогда прехорошенькой. Боже мой, как хитры иногда красавицы: появляются в обществе дурнушек. Вы видели девушку, что сидела с ней рядом? Вы понимаете? На фоне черного белое кажется еще белей!

— А где вы ее видели? Когда?

— У нее есть брат. Они ездили в Крым, по дороге останавливались в Москве. Мне случилось разговаривать с ее братом. Он интересовался теми, кто из Узбекистана учился в Москве. Кажется, его зовут Салимхан. Помню, мы с ним сильно поспорили. Вот придем домой, я вам расскажу.

Саиди было очень интересно узнать, о чем спорили Эхсан с Салимханом, и, вернувшись домой, он, зажигая лампу, сразу заговорил об этом, утаив, что сам знаком с Салимханом.

— Как-то в воскресенье, — рассказывал Эхсан, раздеваясь, — Салимхан позвал в гости несколько узбекских студентов. Мы пошли. Он жил в гостинице «Европа». И сестра была с ним. Он нас хорошо принял. Сидели, разговаривали. Салимхан расфилософствовался, старался показать себя болеющим за узбекский народ. Зашел разговор о нации, о востоке и западе. И вот тут я с ним поспорил. Вы, наверное, слышали: у буржуазных ученых есть такая теория — ее называют расовой теорией, — согласно которой люди черной и желтой кожи — существа низшего сорта, из их среды не может выйти ни талантливый, ни даже умный человек. Салимхан не называл эту теорию расовой, но утверждал, что так смотрят европейцы на жителей Востока.

— Это верно, — сказал Саиди.

— Ну, вот и наш Рахимджан туда же... Это не взгляд Европы на Восток, это выдумка буржуазных ученых, которые хотят держать в темноте народы колониальных стран.

— И все же...

— Подождите. Есть еще одна теория, похожая на расовую. Она утверждает, что люди физического труда — низший сорт человечества. Будто бы у людей физического труда иначе устроено тело, иначе растут волосы и ногти и еще что-то иное... Что вы скажете на это? Это тоже взгляд Европы на Восток? Нет, тут уж нет ни Европы, ни Востока. Здесь уж говорит только класс. Класс, который хочет научно обосновать свое господство. Таких теорий много. Например: мы знаем, что проституция порождается капитализмом, но буржуазные ученые говорят, что это болезнь — она передается по наследству, и тем стараются обелить капитализм. Расовая теория выгодна капитализму. Салимхан говорит «Европа», а под этим словом подразумевает все пространство от Атлантического океана до Урала.

— И чем же кончился ваш спор?

— А чем же он мог кончиться? Один бухарец, учившийся раньше в Берлине, стал на сторону Салимхана. Я и раньше не любил этого бухарца, а тут и с ним поругался. Ну, я собрался уходить, со мной поднялись и другие. Салимхан всячески постарался смягчить резкость

спора. «Не обижайтесь, молодые ученые, там, где собираются студенты, никогда не обходится без споров». Он был ласков и проводил нас почти до дому.

В эту ночь Саиди долго не мог заснуть, и потом во сне ему все снилось, что они с Эхсаном поспорили, что он сказал Эхсану что-то нехорошее, и старая их дружба оборвалась...

Утром, проснувшись раньше Эхсана, он притворился спящим и, когда Эхсан будил его, долго делал вид, что не может проснуться, тер глаза и с трудом открыл их. За чаем он ждал, что Эхсан вернется к вчерашнему разговору, но тот стал рассказывать о своих товарищах и близких друзьях, живущих в Москве и Ленинграде.

А Саиди не мог ему рассказать о своих друзьях, с кем он сблизился в последнее время. Он вообще не понимал, как он оказался в их кругу, и, если бы не приехал Эхсан, Саиди не знал бы, что у него есть друзья, о которых нельзя рассказать Эхсану. Что-то отделяло Эхсана от этих людей.

— Послезавтра я должен ехать в Багдад, а сегодня, Рахимджан, я хочу увидеться с Шарифом, Шафриным и другими друзьями. Вы видите с Шарифом? Шафрина вы, кажется, не любили...

— Я встречаю их всех. Шафрин, правда, куда-то исчез. Шариф теперь большой человек... Признаться, я не понимаю этого парня. Когда студентов из нашей ячейки отправляли в кишлак во время земельной реформы, я почему-то не мог выехать, обратился к Шарифу, надеялся, что он мне поможет остаться. Но он сразу надул — понял, видно, что на него возрос спрос на базаре, — и не помог мне. Я уж было махнул рукой на него, но, когда по возвращении из кишлака начались на меня нападки в ячейке, Шариф вдруг заступился за меня...

Эхсан задумался.

— Впрочем, дело не во мне. Вообще, наверное, заведовать орготделом нелегко.

— Какой орготдел? — удивился Эхсан.

— А что?

— Да ведь скоро уж год, как Шариф секретарь райкома комсомола.

Саиди, глядя в землю, сказал тихо:

— Может быть, и так.

— Скажите правду, Рахимджан, вы — комсомолец или выбыли из комсомола?

— Почему бы мне выйти из комсомола?

— Разве может быть комсомолец так далек от жизни своего комсомола? За целый год вы даже не узнали, кто у вас секретарь райкома!

Саиди засмеялся.

Вечером Эхсан привел Шарифа. Как только Шариф вошел в дверь, Саиди почувствовал себя чужим в собственном доме, держался принужденно, словно случайно попал в незнакомое место. Он рад был, что пришлось взять чайник и пойти за чаем.

— Я помог Саиди остаться в комсомоле, — сказал Шариф, когда тот вышел.

— Не хвались, друг мой, не важничай! — сказал Эхсан. — Ты помог ему остаться в комсомоле, но ты и не представляешь себе, до какой степени он оторван от жизни комсомола! Ячейка, видно, бросила его на произвол судьбы. Ну, если все твои ячейки так заботятся о своих комсомольцах...

Тут вошел Саиди с чайником. Но и в беседе за чаем он не принял никакого участия, сидел в стороне, дремал и только хотел, чтобы Шариф поскорее ушел.

Шариф просидел до полуночи, а потом Эхсан пошел его проводить и пропадал больше часа. Когда он вернулся, Саиди уже лег, но еще не спал.

— Не могу понять этой вашей нелюдимости, — сказал Эхсан, входя. — Шариф целый вечер с нами сидел, разговаривал по-товарищески, а вы... точно в рот воды набрали. Ну, ладно. Пусть... Кстати, Шафрин только сегодня уехал в Хорезм, просил вам кланяться. Ну-с, а теперь вы должны отчитаться передо мной. Помните, я вам писал, что потребую у вас отчета? Вот и давайте — отчитывайтесь!

Саиди привстал на кровати, облокотился о спинку и опустил голову, раздумывая: «Что же я скажу?» Он не знал, с чего начинать. Эхсан, конечно, хочет знать об его писательских делах и об университете. Если начать говорить о писательских делах, придется рассказывать о своих новых друзьях; об учебе же нельзя и заикнуться. Подумав, он вытащил из-под кровати кипу журналов и положил перед Эхсаном. Эхсан перелистал их, увидел холодные ответы «не будет напечатано», прочел, наконец, напечатанный рассказ. Саиди хотел, чтобы Эхсан понял, как ему было трудно.

— «Трудно» — не значит «не могу», — сказал Эхсан, как бы отвечая другу. — «Трудно» требует большого труда. Конечно, трудно растить талант, но в наше время

для этого есть широкие возможности. Вы, Рахимджан, участник великого дела: узбекскую литературу надо поднять до уровня мировой литературы. И вы должны считать своей основной темой то, что утверждает Советская власть, что помогает строительству социализма.

— И сейчас есть такие, что готовы растоптать талант,— сказал Саиди горько.— Вы же видели все эти ответы: «не будет напечатано». Я получал эти ответы не потому, что то, что я писал, не годилось для печати... Скорее наоборот. У нас тоже есть завистники. Например, один из них низкопробный карьерист, поэт, имя которого — Кенджа...

— Какой Кенджа?— удивился Эхсан.— Уж, наверно, в Узбекистане не два поэта с таким именем, а одного я знаю. В Москве мы часто встречались. Кенджа не такой...

Саиди рассказал, что слышал от Якубджана — по поводу напечатания «Каландара». Эхсан замолчал и задумался.

Больше они не разговаривали об этом, но на другой день Эхсан разыскал Кенджу и долго расспрашивал его о Саиди. Кенджа сказал, что Саиди попал в круг «гнилой интеллигенции». То же самое, может, не совсем прямо, говорил и Шариф. Эхсан догадался, что не только Мунисхон связывала Саиди с Салимханом,— и грустно ему стало за прежнего друга. Несколько раз еще пытался он поговорить откровенно с Саиди, но тот решительно уклонялся от серьезного разговора. И между ними, что называется, прошел холодок.

Когда Эхсан вновь уезжал в Москву, Саиди нашел предлог, чтобы не провожать его. И Эхсан отметил это с горечью.

XXV

Решив окончательно уйти из университета, Саиди почувствовал неопределенность своего положения: давать уроки он не хотел, а в литературе еще не стал таким профессионалом, чтобы обеспечить себе хлеб насущный. К литературе его влекло, и нужно было приложить много усилий для совершенствования того, что ему было дано от природы. Но он уже не мог как раньше весь отдаваться напряженному труду — он не видел в нем большого смысла. Зачем работать днем и ночью, читать, учиться? Важнее — возвращаться в кругу избранных, чаще попадаться на глаза тем, от кого многое зависит. А это легче всего делается за бутылкой. Распитые вовремя и с нужными

людьми пара бутылок принесут больше пользы, нежели двадцать новых прочитанных книг.

В кругу его друзей бутылка значила многое. На одной вечеринке сам Аббасхан стал говорить ему «ты». А давно известно: если сам владыка говорит человеку «ты», все остальные должны ему кланяться...

Каждый четверг Саиди — в гостях у друзей. Знакомится с новыми людьми, еще ближе сходитя с теми, кого знает. Аббасхан обычно пьет мало. Он держится в стороне от всех и разговаривает с теми, кто пьет так же мало, как он сам. У Мурадходжи-домлы есть своя норма, и, как только он превысит ее, делается ужасно распушенным. Салимхан, как выпьет, фальшиво поет у рояля. А Махмуджан-эффенди, ухватившись за первого попавшегося гостя, начинает рассказывать свой любимый анекдот: «Спросили: «Жив ли твой друг?» Ответил: «Он умер». Спросили: «В чем причина его смерти?» Ответил: «Жизнь», — и может повторять это часами. Аббасхан моргает Саиди и, указывая на пьяных, усмехается, значит, считает его трезвее других. Саиди гордится этим: разве плохо, что среди всех этих, пусть важных и значительных, но сейчас опьяневших и болтающих вздор людей, он один настолько владеет собой, что понимает намеки и гримасы трезвого Аббасхана! Другие, чтобы не пьянеть, глотают сливочное масло, пьют уксус... Саиди же иногда так, чтоб все видели, залпом осушал стакан и ничем не закусывал, только вытирал рот тыльной стороной ладони, — и не пьянел.

По мере того, как Саиди все больше входил в круг своих друзей, круг этот становился шире, и часто теперь он встречал здесь таких людей, о которых раньше и не думал, что они могут принадлежать к этому кругу. Кто хоть однажды с ним чокался, в другой раз уже клал ему руку на плечо и называл его «мой друг» или «дорогой брат». Когда-то встреченный им у Салимхана и пренебрежительно к нему отнесшийся следователь Мирза Мухитдин теперь стал называть его «мой друг Рахимджан». И среди литераторов Саиди стал своим. Казавшийся ему раньше недостижимым поэт Джамал Карими — Ульфат теперь давал ему читать свои стихи и интересовался его мнением. Все это Саиди расценивал как свой успех. Он утвердился в правильности своего решения бросить опостылевший ему факультет, а за эти летние месяцы бутылка вознесла его на такую высоту, что ему уже не хотелось быть трезвым.

Среди приятелей Саиди были люди, высоко ценившие способность пить и не пьянеть и любившие демонстрировать это свое качество. Обычно четверговые пирушки не всегда давали возможность это проделывать. Тогда собутыльники уговаривались устроить «пьяный четверг» в другие дни недели. Побывав однажды на таком четверге, Саиди и сам стал их устраивать.

Этот дружеский круг, куда, казалось, входили только несколько человек, с появлением Саиди стал расширяться. Теперь в него входили не только хозяйственники и работники финансовых учреждений, но даже владельцы пивных и столовых, и с этими людьми Саиди тоже чокался и выпивал. Сначала он чувствовал себя при этом неловко, тем более, что вечеринки часто бывали либо у этих лавочников, либо устраивались за их счет. Что-то заставляло Саиди сторониться этих лавочников. Но — лишь до первой рюмки, а потом они начинали ему казаться такими же, как все, а после двух-трех встреч становились уже близкими друзьями.

В один из таких «пьяных четвергов» среди новых знакомых его внимание привлек некий человек по имени Хайдар-хаджи. Саиди впервые увидел его на вечеринке у следователя Мирзы Мухитдина — в узком кругу. Хайдар-хаджи, человек лет сорока, среднего роста, худощавый, смуглый, был одет неряшливо и неприглядно. На голове — засаленная, ставшая жесткой, как кожа, тюбетейка, на плечах халат, не уступавший ей в засаленности, а поясной платок он подвязывал так высоко, что, казалось, будто живот у него начинается под подбородком. Он так проворно вскочил с места и так низко стал кланяться, когда вошел Саиди, что сразу упал в его мнению, и тот счел его человеком гораздо ниже себя.

Всем своим видом, манерой держаться, словами и жестами Хайдар постоянно показывал, что считает себя ниже всех присутствующих, что каждый может приказывать ему, что он ждет приказаний и готов их выполнить. Но в глазах Мирзы Мухитдина старая потрепанная тюбетейка Хайдара — как царский венец.

— Ваш Хайдар-хаджи, кажется, неплохой человек, — сказал Саиди Мирзе Мухитдину несколько дней спустя. — Когда я его увидел в первый раз, он мне показался жалким, а сейчас я вижу, что в нем что-то есть...

— До революции у него была своя типография, потом он был учителем. Но, вы знаете, везде много склочников, он не вынес интриг и сплетен, ушел из системы

просвещения, занялся торговлей. Но авторитет его высок, он пользуется всеобщим уважением... куда бы ни приехал... На него наложили налог — четырнадцать тысяч. А во время земельной реформы отобрали всю землю. Правда, пришлось похлопотать, попросить того-другого, и часть земли удалось вернуть. Но это вызвало шум, дело пересмотрели — и вся его земля ушла от него. К тому же на него донесли, будто он поставляет лошадей басмачам... Я был как-то у него дома. Какие у него удивительные книги! Целая комната книг... Давайте пойдем к нему как-нибудь — посмотрите его книги.

Саиди теперь все больше входил в среду солидных писателей. Литературное объединение на одном из своих собраний обсуждало произведения молодых и дало высокую оценку Саиди. Редакции газет теперь слали ему письма, предлагая принять участие в литературных страницах.

О своем продвижении в литературе Саиди узнавал чаще всего на собраниях писателей. Он уже не прятался, как сирота, в каком-нибудь углу. Он сидел теперь в первом ряду, среди известных писателей, поэтов, прозаиков, критиков, переговариваясь с ними, смеясь, переглядывался и перебрасывался записками с сидящими в президиуме. Он пользовался авторитетом, которого не было даже у Кенджи, хотя тот уже давно был известным поэтом.

XXVI

Однажды Мурадходжа-домла пригласил Саиди в гости, сказав, что ему прислали из кишлака замечательное вино, настоянное на лепестках роз.

Саиди застал Мурадходжу-домлу во дворе: тот только что вышел из ичкари, отчитав жену, которая не управлялась всего лишь с четырьмя коровами, и теперь ругал батрака, не выпустившего вовремя кур из сарая. Увидев вошедшего в ворота Саиди, домла даже не дослушал, что отвечал ему батрак, и, поздоровавшись, повел Саиди в комнату для гостей. Проходя по коридору, Саиди заметил на одной двери записку: «Входите, не вытирая ног, и не закрывайте дверей», — и засмеялся. Домла объяснил, что это его рабочая комната, а надпись сделана специально для Хайдара-хаджи, когда он гостил здесь прошлой зимой. Он ввел Саиди в эту комнату и развлекал его шутками и анекдотами, пока из ичкари не принесли дастархан.

В комнате домлы просторно, лишних вещей нет. У

большого окна с желтой занавеской — низкий резной столик на толстых ножках, между ним и узкой нишей, в которой лежат газеты, стоит черная этажерка с двумя полками: на верхней — маленький бюст Ленина, на нижней — старые, еще дореволюционные журналы. Против окна на стене висят портреты Бедиля и Нариманова, под ними — снимок с развалин медресе Биби-Ханым и несколько фотографий, сделанных в Коканде. Сам домла снимался очень редко, у него есть только одна его фотография, снятая в Уфе в четырнадцатом году, но он ее не повесил на стену, а держит в альбоме, который называется «Султаны Турции».

Когда слуга доложил, что угощение подано, домла повел Саиди в другую комнату — как он назвал, «комнату наслаждений». Эта комната была устлана дорогими коврами, на стенах висели картины, большей частью пейзажи. Все вещи в комнате были старого, царского времени.

Разливая по пиалам коньяк, домла говорил:

— Я человек опытный, хорошо знаю людей... У меня сейчас одна-единственная цель... хочу, чтобы вы стали великим человеком... готов посвятить этому всю свою остальную жизнь... Когда я учился в Уфе, я слышал там об американском газетчике по имени Хёрст. Оказывается, у него был редактор, который должен был ежедневно давать ему статью размером в одну газетную колонку, а за это получал двенадцать тысяч золотом в год. Вот что такое талант, способности человека. А вдруг придет время — и вы станете таким великим человеком... и я приду к вашим дверям, буду звать вас, а вы и дверь мне открыть не захотите — будете говорить со мной через окно, — я все равно буду рад...

— Я верю в себя, домла, верю, что буду большим писателем, — отвечал Саиди, которому были приятны речи хозяина. — Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну земной шар!» Я тоже все переверну, если у меня будет точка опоры, если мне создадут подходящие условия.

Домла от радости подскочил, перевернул пиалу с вином, стал уверять, что никто не может создать Саиди такие условия, как сам домла, и повторил, что он готов отдать жизнь, чтобы сделать Саиди великим человеком.

Теперь, если по какой-либо причине не состоялись «пьяные четверги», Саиди стал приходить к домле.

В день, когда ожидался приход Саиди, домла, едва проснувшись уже начинал готовиться к этому событию:

велел жене стряпать редкостные блюда, рецепты которых обдумывал ночью, выбирал вино получше, сам прибирал свою рабочую комнату и гостиную, смотрел, расстелены ли на пушистом ковре шелковые курпачи и пуховые подушки, хорошо ли расставлено угощение на белоснежном дастархане, все ли готово для предстоящего приема. Потом он выпивал пиалу коньяка и ждал Саиди.

Такие четверги случались часто, и всякий раз главной темой разговора было будущее Саиди. Доброе отношение домлы к Саиди было таким искренним, а доверие к нему так велико, что домла принимал его уже не в комнате для гостей, а в ичкари, на женской половинке. Вообще-то домла ценил на свете только богатство и свою собственную жизнь, но с некоторого времени не меньше, чем в эти ценности мира, он поверил в ценность Саиди.

Так прошло лето. В конце сентября Саиди получил письмо с факультета — от комсомольской тройки, проверявшей успеваемость и посещаемость лекций студентами. А через неделю к нему явился какой-то человек и целый час допрашивал его, почему он бросил университет. Саиди еле отвязался от него, солгав, что поступил на литфак в Москве.

XXVII

Мурадходжа-домла — толстый, крупный человек — всегда удивлялся, почему так худа его дочь. Будь Сорахон худа только по сравнению со своим отцом — куда ни шло! Она выглядела бы нормальной, как многие худощавые и не очень красивые девицы ее возраста. Но в том-то и дело, что Сорахон намного худее самых тощих своих ровесниц. Это делает ее неимоверно длинной и внушает окружающим опасения, что она вот-вот переломится не менее как в четырех местах сразу. Как многие чересчур худые и высокие люди, она ходит несколько согнувшись и наклонившись всем корпусом вперед. Жилистые и костлявые ее ноги, торчащие из-под атласного платья, вечно отстают от туловища и спешат за ним, стараясь сохранить равновесие тела. Ее руки в синих жилах с длиннющими тонкими пальцами никогда не висели покойно вдоль тела, а были сложены на животе и постоянно шевелились. Если бы ее черные кудрявые, похожие на хвосты породистой коровы, косы не падали ей все время на грудь и она не должна была бы с досадой отбрасывать их на спину, тому, кто видел ее сзади, могло показаться, что она несет на животе что-то тяжелое.

Лицо Сорахон смугло и словно стянуто панцирем. Смеясь, она не растягивает рот, как отец, а поджимает свои тонкие бескровные губы, чтобы скрыть кривые зубы, да и когда разговаривает, губы ее еле двигаются.

Сорахон — единственный ребенок домлы. Семеро старших и шестеро младших братьев и сестер ее умерли в раннем детстве. Поэтому домла особенно любит Сорахон и даже все ее недостатки готов считать достоинствами. Никто в семье не смеет поручить ей что-то сделать, повысить голос на нее. С тех пор, как ей исполнилось двенадцать лет, все и сам домла тоже обращаются к ней на «вы». С этого же времени она перестала ходить в школу. Домла попробовал было учить ее дома немецкому языку, но она так жаловалась на учительницу, что пришлось прекратить уроки. На этом учение ее закончилось. Тогда у домлы возникла мысль подыскать ей в мужья хорошего парня, взять его в дом и предоставить обонм возможность учиться.

И вот Мурадходжа-домла встретил такого человека, которому даже не нужно учиться, а нужны лишь хорошие условия для работы. Человек этот растет с каждым днем, источники его доходов все увеличиваются, доходы тоже. Придет день, когда домла сможет хвалиться своим зятем и гордиться, что помог ему вырасти. Нужно только постараться не упустить такого зятя.

Но тут была и еще загвоздка. Если бы дело было только в том, чтобы создать хорошие условия, домла сделал бы больше, чем нужно. Труднее отвлечь Саиди от Мунисхон, но самая большая трудность, оказывается, в том, чтобы свести его с Сорахон. И тут домла впервые — с тех пор, как стал говорить «моя дочь», — понял, что дочь у него некрасива.

На одной из дружеских вечеринок Саиди, опьянев, заговорил о Мунисхон:

— Нет на свете девушки грациознее Мунисхон...

— Девушки?! — переспросил со смехом домла. — Да ведь она носит в себе ребенка от Ильхама!

Саиди так и подскочил при этих словах, но домла сделал вид, что не заметил этого. А Саиди вспомнились слова Мунисхон, когда-то сказанные об Ильхаме: «Он хороший парень... один из ближайших друзей моего брата...» Ревность пронзила его сердце. Он не мог не поверить словам человека, который так добр к нему, который все готов сделать, чтобы Саиди стал большим писателем; но он не в силах был выбросить Мунисхон из сердца. И он

постарался не давать воли этим двум противоречивым чувствам.

XXVIII

Редактор областной газеты поставил свое имя под только что законченной передовицей и самодовольно оглядел сидящих перед ним заведующих отделами.

— Я назвал статью так: «С молниеносной быстротой»,— сказал он хвастливо.— Найти удачное заглавие для статьи — большое мастерство журналиста. В Америке, например, иной броский заголовок может увеличить тираж газеты,— от него зависит либо новая прибыль, либо крах...

— Поэтому, товарищи,— подхватил Мурадходжадомла,— учитесь придумывать заголовки. У нашего редактора опыт... никто еще не был до него два года подряд редактором нашей газеты...

Громкий смех, раздавшийся в соседней комнате, заставил редактора сердито взглянуть на секретаря. Но не успел секретарь вскочить, чтобы выяснить, кто там, в комнату смело шагнул деревенский парень в потрепанной одежде. Он оглядел по очереди всех присутствующих и спросил:

— Кто здесь редактор газеты?

Редактор поручил Мурадходже-домле поговорить с пришедшим.

— Я хочу получить обратно свои деньги,— сказал парень,— из двенадцати месяцев прошло четыре и одна неделя, за это, так и быть, вычтите сколько надо, а остальные деньги верните мне. Я больше не хочу читать вашу газету... И сообщать в нее ничего не буду.

— Значит, вы подписались на газету и четыре месяца ее получали,— сказал домла,— а теперь, значит, не хотите ее больше получать и не станете читать? Вы — грамотный?

— Нет, я неграмотный, мне ее читали, и я слушал. А когда в кишлак приезжали корреспонденты из газеты, я рассказывал им про нашу жизнь, думал, что пригодится...

— Почему же вы теперь не хотите читать нашу газету? Разве вы против Советской власти?— спросил, улыбаясь, домла.

— Да разве же она советская? Советская власть говорит: нельзя, чтобы батраки жили у бая в хлеву вместе со скотиной... Советская власть хочет дать всем крестьянам землю, чтобы они сами были хозяевами на земле... А ваша газета выступает против Советской власти.

— Когда же и где она выступала против? — спросил редактор, вытянув и без того длинную тонкую свою шею.

Парень вытащил из кармана измятый, сложенный в несколько раз листок газеты и положил перед редактором.

— Вот посмотрите-ка! Разве выступать против земельной реформы не значит идти против Советской власти?

У редактора мгновенно испортилось настроение, когда он разворачивал газету. Мурадходжа-домла криво улыбался. С недоверчивым видом редактор просматривал газету и вдруг наткнулся на такие строчки в статье Мурадходжи-домлы.

Как листья тополя дрожит моя душа:

Мой старый дом теперь хотят разрушить...

Он посмотрел на Мурадходжу и дрожащими руками стал тереть лицо.

— Что ж, товарищ правильно ставит вопрос, — сказал аведующий массовым отделом газеты Кенджа.

Мурадходжа-домла мог перевернуть любое замечание, любой выговор редактора, он мог бы сказать о себе: «Я проглочу и камень», — но эти слова были сказаны Кенджой, а его домла не выносил и называл «крапивой». Он покраснел, на лбу у него вздулись жилы, потом страшно побледнел и вымолвил, кривя рот:

Ах, так? Вы считаете это правильным?

Редактор почувствовал, что назревает ссора, и, как ребенок при ссоре родителей боится, что дело может дойти до разрыва, растерялся. Он поспешил объяснить парню, что статья эта давнишняя, что она попала в газету случайно, что редакция уже приняла свои меры, и, выпроводив посетителя, постарался потушить скандал. Но домла не хотел слушать никаких уговоров.

— Вы считаете себя поэтом, а вы — просто желторотый воробышек, — сказал он Кендже, натянуто улыбаясь. — Когда я начинал работать в газете, ваша мать еще была девочкой и только подвязывала к животу подушку, чтобы вообразить себя матерью! Так-то, братец!

Кенджа, вняв просьбам редактора, ничего не отвечал, только рассмеялся, но, складывая бумагу, не удержался:

— Удивляюсь, как этот человек еще живет на земле, — ведь саван сейчас стоит всего рубль...

— Чтоб тебе сдохнуть! — закричал разгневанный домла. — И чтобы твои родные все сдохли, и все твои соседи,

весь твой поганый род! И чтоб в день страшного суда из ваших могил встали свиньи вместо людей!

Скандал разразился и кончился тем, что домла ушел из редакции. Редактор страшно рассердился, целый час жаловался на отсутствие новых кадров и на трудности работы со старыми и дал понять, что терпению его наступил предел.

— Довольно! — сказал он, ударив кулаком по столу. — Позор, когда советская печать выступает против революционных преобразований Советской власти! Необходимо очистить редакцию!

Но, издав в тот же день приказ об освобождении домлы от работы в газете, редактор вечером пошел к нему домой, чтобы извиниться перед ним, ибо считал домлу образованным и знающим человеком.

А через два дня редактор докладывал на бюро областного комитета партии о работе газеты и предложил проект чистки редакционного аппарата. Бюро объявило редактору выговор, но проект одобрило. Редактор был рад, что, слава богу, отделался выговором, и немедленно приступил к обновлению редакции. Первым кандидатом был Саиди. Он считался растущим молодым писателем, он — политически грамотный, образованный человек, выступал против статьи Мурадходжи-домлы. Все это редактор знал, а чего не знал, нашептали ему такие доброжелатели Саиди, как Салимхан и Аббасхан.

Когда Саиди пришел первый раз на работу в редакцию, молчаливый Якубджан пересел за стол рядом с редактором и зарылся в бумаги.

Сменив почти весь персонал, редактор успокоился. Он решил, что теперь редакция будет работать, как машина: поверни ключ — она проглотит бумагу и выплюнет номер газеты. А решив так, уже не считал нужным являться на работу каждый день и свои передовицы присылал с курьером. Люди, рекомендовавшие ему Саиди и Якубджана, хвалили теперь газету, находили в ней улучшения, и редактор гордился собою.

Саиди был назначен ответственным секретарем редакции, но вскоре он уже заменял технического редактора и даже иногда писал передовые статьи. Редактор во всем советовался с ним, прислушивался к его замечаниям, и это придало Саиди в редакции большой вес. Чем значительней становилась роль его в газете, тем меньше значило теперь слово редактора — и это знали все, начиная с самого редактора и кончая рассылным. А с ростом

влияния росли и доходы Саиди. Мурадходжа-домла однажды сказал ему:

— Мой отец, когда был в вашем возрасте, стал чиновником у хана, и дед ему говорил: «Сын мой, увеличивай свои доходы, покупай землю, строй дома, копи золото». А мой отец не придавал значения этим словам, думал, что богатство от него не уйдет и будет все прумножаться. Но вдруг — откуда ни возьмись — приходят русские, хана уже нет, и отец мой теряет свою должность. Стал подсчитывать свое имущество — оказывается, ничего не прибавил к тому, что получил от деда... Вот так, Рахимджан, бывает иногда, что богатство бежит за человеком. Неумный человек решит, что так и будет всегда... но я знаю... У меня есть опыт... Деньги надо ловить и удерживать. Случай приходит лишь раз... Вам надо жениться... у вас будет семья, дом... Вы научитесь приобретать хорошие вещи. Сейчас вы бросаете на ветер по пять-десять рублей, а если их собрать вместе, получится, что они будто с неба упали. А деньги могут родить деньги.

— Вы говорите о процентах в сберкассе?

— Ну, что вы... — сказал домла, пренебрежительно махнув рукой. — Пусть пропадут их жалкие восемь процентов!

Мурадходжа-домла был не прочь сам стать казначеем Саиди.

Когда-то Саиди нуждался в деньгах, теперь он уже выбрался из болота нужды и не только выбрался, но поднялся высоко в гору благополучия. И, достигнув вершины, казалось, достиг всего. Но тогда перед ним замаячили новые вершины. По сравнению с ними, его нынешнее положение представилось ему нищенским, тысячи, проходившие через его руки, уже не удовлетворяли его. Разве нельзя превратить эти жалкие тыщонки в десять, пятнадцать, сто тысяч?

Вот в это-то время Мурадходжа-домла, взяв у него тысячу рублей, трижды обернулся с ними и вернул ему уже полторы тысячи, доказав ему еще раз свое расположение.

Так шли дни и месяцы.

Университет, казавшийся ему гибельной ямой, комсомол, толкавший его в эту яму, теперь были так далеко, что он почти забыл про них. С тех пор, как он снялся с комсомольского учета на факультете и сжег свою учетную карточку, постоянно терзавшее его смутное беспо-

койство исчезло. Но появились другие заботы. Теперь его беспокоил Кенджа и его приверженцы.

— Товарищ Саиди,— обратился к нему как-то после работы Кенджа,— поступает много жалоб от наших корреспондентов на местах. Сказать по совести... я проверил эти жалобы. Действительно, вся газета у нас заполняется материалами редакционных работников. Рабкоровским заметкам совсем почти не уделяется места.

— Кенджа-ака,— отвечал Саиди с таким видом, будто проглотил горькое лекарство,— за газету отвечает в первую очередь редактор, потом я. Занимались бы вы лучше своими стишками... Я сам просматриваю все поступающие материалы... если нет пригодных, мы не можем ждать, пока они появятся. В каждом номере у нас не меньше ста подписей...

— Ну, что касается подписей, то их можно довести и до тысячи.

— Как же вы это сделаете?

— А как это делает Саиди, подписываясь один семью разными именами? Как это получается у Якубджана, который подписывается пятью именами? Вот как это делается! Надо иметь совесть! Во вчерашнем номере напечатаны четыре заметки Якубджана, подписанные четырьмя именами. А заметки наших рабкоров лежат! Сведения устаревают, и типография рассыпает набор.

— Ну, что ж, пишите и вы тоже,— сказал Саиди, взял портфель и вышел.

Вскоре и другие заведующие отделами стали жаловаться, что подготовленные ими материалы лежат без движения и устаревают. Поднялся скандал, разговоры дошли, наконец, до редактора. Редактор решил, что Кенджа прав, но упрекал его за то, что он поднял скандал, а не обсудил вопрос в мирной товарищеской обстановке.

— В нашей работе главное — согласованность и единomyслие,— сказал редактор в заключение своей длинной речи.— Что такое наша работа? Молоко. Какова форма нашей работы? Глиняный горшок для молока. Какие условия нашей работы? Телега. Куда мы идем? К социализму. А что такое споры и нелады в нашей работе? Ухабы и кочки на пути. Чем больше будет на нашем пути ухабов и кочек, тем больше будет трястись наша телега, а молоко расплескается и может прокиснуть. Работать нужно в мире и согласии. Что значит мир? Веревка. Но нельзя привязывать корову за один рог. Что такое дружный коллектив? Хорошая семья. Когда сердится

муж, уступает жена, а когда раздражена жена, должен уступить муж.. Иначе дети останутся сиротами...

Так этот серьезный инцидент, к радости Саиди и Якубджана, свелся к шуткам и смеху. Саиди и Кенджа внешне помирились и держались друг с другом по-товарищески.

Всегда хмурый, всегда молчаливый Якубджан однажды утром встретил Саиди с улыбкой. Когда Саиди сел за свой стол, Якубджан подошел к нему и ткнул его холодным пальцем в лоб.

— Вам всадыт пулю прямо вот в это место...

— Кто? За что? — спросил Саиди, отталкивая его ледяной палец.

— А мне от этого прибыль...

— От того, что меня расстреляют?

Якубджан хихикнул, втянул голову в плечи и на цыпочках, словно боялся, что его услышат, подошел к печке и приоткрыл дверцу. Там были остатки сгоревших бумаг. Якубджан так же осторожно прикрыл дверцу печки, вынул из своего ящика пачку бумаг и положил перед Саиди.

— Отдайте это Кендже, пусть выберет подходящий материал...

Саиди понял. То, что сделал Якубджан, было ему и приятно и противно, но он сам не знал, что именно приятно и что противно.

Саиди отдал бумаги Кендже, и Кенджа, просмотрев их, должен был прикусить язык. Теперь, когда Якубджан распределял ежедневную почту по отделам, Саиди с улыбкой показывал на печь и тихо говорил: «Довольно уж, не жгите больше». И Якубджан, повинувшись Саиди, оставлял часть присланного, но это были такие материалы, что не прошло и месяца, как Кенджа вновь взорвался.

— Если так пойдет, наша газета потеряет всякий авторитет! Что же это такое? В каждом номере мы только и знаем, что критикуем да бьем кого-то. Газета полна жалоб на правительственные учреждения. Скоро не останется ни одной организации, какую мы не обругали бы... Только и делаем, что кричим о недостатках, но есть же у нас что-то хорошее, наконец?!

Редактор поднял бровь и прикусил язык. Это был такой удобный момент, чтобы попрекнуть Кенджу, что даже молчаливый Якубджан не выдержал и проворчал:

— Если не печатаем письма корреспондентов, вы говорите: плохо, а если печатаем, вы опять недовольны. Вам бы быть редактором!

Кенджа рассердился и хотел возразить, но редактор его остановил.

— Во-первых, не нужно бояться критики. В большевистской печати должна быть и большевистская критика... Если что плохо, скрывать это — контрреволюция! Но, конечно, надо показывать и хорошие стороны нашей действительности, я согласен. У нас есть недостаток в этом. В чем причина? В плохой работе отдела писем. А почему он плохо работает? Потому что мало у нас политически грамотных, опытных корреспондентов. Почему их мало? Потому что мы только делаем первые шаги к культуре. А почему только первые шаги? Да потому что наша страна еще недавно была отсталым колониальным краем...

Редактор не остановился бы, пока не дошел бы до появления человека на земле, но Кенджа прервал его и внес свои предложения. Редактор с радостью с ним согласился и даже выразил удовлетворение по поводу того, что Кенджа явно вырос как газетный работник.

XXIX

Только случайность спасла зятя Саиди Мухаммедраджаба. Он давно уже стоял одной ногой на земле, другой — в своей лавке, но после земельной реформы землю у него отобрали, и он повис в воздухе. Как пламя свечи на ветру, он трепетал при малейших переменах в жизни.

И вот в это время его обязали выплатить девять тысяч налога. Пока не была известна точная сумма, можно было просто опасаться, а когда узнали, надо было изыскать способы, как ее сократить. Уменьше находить эти способы считалось в те времена обязательным для частного торговца.

Мухаммедраджаб, пока еще не известна была сумма очередного налога, обычно умел подготовиться к нему, давая взятки, рассовывая деньги во все известные ему дыры. Он знал толк в этом деле, недаром ему отдавали должное тайные и явные торговцы, советовались, оказавшись в трудном положении, и он давал полезные советы. Иногда он даже бывал посредником между дающими и берущими взятки, и это порой приносило ему большую прибыль, чем торговля.

Еще недавно, если что менялось в учреждениях, с которыми был связан Мухаммедраджаб, то он умел приспособиться и к этим переменам и к новым людям. В конце концов «новые работники» оказывались ничуть не лучше старых, и все устраивалось. Но последний налог

в девять тысяч совпал с такой переменной, которая оказалась непохожей на все предыдущие, и Мухаммедраджаб не знал, как к ней приспособиться. Он вдруг растерял всех, кто мог бы ему помочь. Никто не мог ему объяснить, что происходит, говорили только как-то неопределенно, что теперь пришли «люди снизу», а что это значит, никак не укладывалось в голову. И все-таки один старый клиент Мухаммедраджаба — какой-то инспектор — взялся скостить ему налог наполовину, потребовал за это семьсот рублей да при этом обильно угощался у него дома. Через неделю он пришел, сообщил, что все улажено, и взял еще сто рублей. А еще через несколько дней стало известно, что инспектора этого арестовали.

Мухаммедраджаб сначала опасался, но прошел месяц-другой, и ничего не произошло. Ему сообщили, что инспектор арестован совсем по другому делу. Потом как-то пришел к нему брат инспектора, принес книгу, сказал, что в ней письмо, и научил, как его прочесть: на каждой странице книги было отмечено по букве — и получилось такое послание: «Добился полной отмены налога. На этой неделе выйду. Дайте подателю сего три-четыре сотни рублей».

Мухаммедраджаб обещал дать деньги на другой день, промучился всю ночь и назавтра рано утром сам отнес сто рублей.

Прошло два месяца, а инспектора все не выпускали. Старых друзей у Мухаммедраджаба не было, а новых заводить, хотя знакомства и много значили в торговом деле, он боялся. Тем более, что их общие с компаньоном сто двадцать три штуки бархата и семь ящиков чая попали в руки милиции. Мухаммедраджаб так нервничал, что готов был даже послать жену к Рахимджану, хотя в свое время грозил ей: «Если будешь видеться с ним, разведусь с тобой».

Весь свой товар, спрятанный в амбаре, он роздал родным и знакомым. Лавку, где выставлены были образцы, не открывал целую неделю; с утра до вечера ходил советоваться с приятелями. Но одни уже от него отвернулись; другие же прямо сказали, что время теперь неспокойное, легко можно попасть в чужую беду, и не хотели помогать ему, как раньше.

Каждый день Мухаммедраджаб совещался с разными законниками и кляузниками. Домой приходил усталый, измученный, все же не теряя надежды, но дома вечером, когда он пытался подвести итог сделанному, оказыва-

лось, что нет не только никакой надежды, но и намека на нее. В один из таких вечеров жена напомнила ему о Рахимджане.

— Вы сами виноваты. Если бы мы сохранили добрые отношения с Рахимджаном, он мог бы сейчас нам помочь. Он сейчас куда больше зарабатывает, чем раньше. Говорят, что он вхож в любое учреждение, решает всякие важные вопросы... Такая большая у него теперь должность, говорят...

— Да что он может сделать? — сказал Мухаммедраджаб небрежно; ему хотелось, чтобы жена продолжала разговор об этом, тогда он мог бы согласиться с ней и уступить. Но она не продолжила разговор. Он ждал на другой день, но она молчала; тогда, придравшись, что она не сменила воду в чилиме, он избил ее и, рассерженный, вышел на улицу.

Уже целую неделю город не видит солнца. Днем и ночью то снег идет, то дождь, а иногда и снег и дождь одновременно. Небо словно опустилось на крыши. По мощенным булыжником улицам текут потоки жидкой грязи. В переулках — грязь по колено. Дувалы отсырели и кое-где развалились. Весь этот день шел мелкий дождик, к вечеру посыпал снег. Снег задерживался только на крышах, где лежали бревна и сено, да побелела немного середина переулка.

Когда Мухаммедраджаб, осторожно ступая в темноте, вышел уже на угол большой улицы, он увидел на противоположной стороне переулка пьяного, который еле плелся, держась за забор. Пока Мухаммедраджаб добирался до него, тот поскользнулся и упал на колени. Мухаммедраджаб остановился, оглядел его внимательно, даже зажег спичку, чтобы рассмотреть пьяного, и тут же узнал: он видел этого человека летом в ресторане в городском саду с Рахимджаном Саиди. Приятели сказали тогда, что это следователь Мирза Мухитдин. Мухаммедраджаб зажег еще спичку, позвал: «Эффенди!» Пьяный качнулся и, ухватившись за стену, выругался, потом, пытаясь вытянуть из грязи ногу, поскользнулся и окончательно увяз в луже. Мухаммедраджаб бросил догоревшую спичку и зажег новую, но все было уже кончено: Мирза Мухитдин лежал в грязи посреди переулка и, чтобы найти его, мало было и целого коробка спичек. Но Мухаммедраджаб обошелся всего десятком спичек, нашел место, куда нырнул следователь, смело ступил в грязь и сунул вперед руку. Хорошо, что рука его нащу-

пала голову, иначе Мирзе Мухитдину пришлось бы плохо. Мухаммедраджаб тут же стал вытирать ему лицо, но главное было в том, чтобы выволочь его из грязи. Он снял с Мирзы Мухитдина шубу и кое-как дотащил его к себе домой.

Наутро Мирза Мухитдин пришел в себя, но глаз не мог открыть. Голова его, особенно затылок, болела ужасно, в горле пересохло, язык вздулся и с трудом поворачивался во рту, сердце билось так сильно, что он сам слышал его стук. Он попытался облизать языком слипшиеся губы и нащупал какую-то толстую корку на них, которая отвалилась, когда он потрогал ее рукой. Упав, она раскрошилась, и он понял, что это глина. Он попытался вспомнить, что с ним случилось. Все было смутно, как сон: он наступил ногой на дутар, сломал его, ударил дядю Магруфа; до этого или после — он пел со всеми, какая-то женщина была рядом, потом подали плов. Но, что было дальше, он не мог вспомнить и удивлялся, почему у него на губах глина. Он пощупал лоб — не жар ли у него? Тронул рукой слипшиеся волосы. На волосах тоже хрустела засохшая глина. Руки тоже были все в глине. Он хотел подняться, но голова у него закружилась, и он свалился с кровати.

Он никогда раньше не видел этой комнаты, в которой не было ничего, кроме сундука, рваного ковра на полу и деревянной кровати. Неужели хозяин пирушки, на которой он был, поместил его сюда? Мирза Мухитдин обиделся. Поднявшись с пола, он увидел, что и рубашка и штаны на нем были чужие. Завернувшись в одеяло, он подошел к двери и постучал. Вошел кто-то незнакомый.

— Ах, мой эффенди, ну и проказник же вы!...

— Где хозяин? Где все? Нет ли холодного чая?

Мухаммедраджаб принес чай и, переливая его из одной пиалы в другую, чтобы остудить, назвал себя и рассказал, что произошло.

— Вот посмотрите, — сказал он, показывая серебряный портсигар, — он лежал у вас в кармане, но даже и он был полон грязи... Когда я вас переодел в чистое белье и посадил на эту кровать, вы совсем было перестали дышать. Я так испугался...

— А где мое пальто? Там в кармане...

— Там было оружие, я его спрятал, не извольте беспокоиться...

Мирза Мухитдин выпил пиалу теплого чая. Но даже чай обжег ему рот и опьянил его, как водка.

— Никто ничего не знает,— сказал Мухаммедраджаб,— когда вы упали, я даже не понял, что вы пьяны. Вы держались молодцом. Ваш друг Рахимджан тоже умеет пить... Но как же ваши друзья вас отпустили в таком состоянии? Верно, сами были нетрезвы. Вы, наверное, захотели уйти домой. У нас с вами, оказывается, одинаковая привычка: я тоже, когда выпью, не остаюсь ночевать в чужом доме... Но чего не бывает с нами в молодости... Я велел приготовить рисовый суп, выпьете чашку, и все пройдет. Или, может быть, выпьем по рюмочке, чтобы голова не болела?

Мирза Мухитдин, сморщившись, покачал головой и только рыгнул.

Но и рисовый суп, каждая ложка которого жгла глотку, не привел Мирзу Мухитдина в чувство. До самого вечера он пролежал в кровати; тело болело меньше, но слабость была еще страшная. Состояние его ухудшалось тем, что он не знал, что же он делал вчера, что с ним было. Мирза Мухитдин совсем разболелся. Поэтому Мухаммедраджабу не удалось ему рассказать о своих делах, в сумерки он послал Мухаммедраджаба к хозяину вчерашней пирушки — владельцу бани и велел привести его. Только после того, как банщик заверил его, что он ничего дурного не натворил и ушел домой мирно, у Мирзы Мухитдина немного улучшилось настроение.

— Мне пора уходить, найдите какой-нибудь мешок и сложите мою одежду,— сказал Мирза Мухитдин.

— Нет, мой господин! Ваше белье я велел выстирать и выгладить, оно готово,— одевайтесь. Костюм и пальто я потом привезу вам сам. Вы не хотите остаться у меня, а отвезти вас мне неудобно — вы человек государственный, а у нас так много сплетников...

У ворот уже ждал извозчик.

На другой день поздно вечером Мухаммедраджаб понес Мирзе Мухитдину брюки. Мирза Мухитдин был опять выпивши, жаловался на боль в затылке и хотел быстро выпроводить Мухаммедраджаба, но тот целый час ему рассказывал, как нашел его в грязи, как он потом раскапризничался и требовал: «Немедленно найди мне женщину».

Мирза Мухитдин почувствовал себя неловко и перервал разговор на другое:

— Я рассказал все Рахимджану, я и не знал, что у него есть зять... Между вами что-то вышло? Он мне толком не сказал.

— Да... что-то было... Я был виноват, а он по моло-

дости лет погорячился.. Он немного вспылыв.. Но в общем ничего серьезного... я был сам виноват...

Выждав два дня, Мухаммедраджаб пришел с пиджаком. Мирза Мухитдин уже не говорил о Саиди, но он сам заговорил о нем и просил передать ему привет. Так он сделал опять, когда еще через день принес Мирзе Мухитдину ботинки; в последний раз, принесся пальто, он уходить не спешил и разговаривал до полуночи.

— Вам нужно помириться с Саиди,— сказал напоследок Мирза Мухитдин.— Вы же говорите, ссора у вас была несерьезная. Я вас помирю. Раз вы виноваты, вы должны устроить вечер примирения. Я приведу Рахимджана. Он меня послушается.

— Всем сердцем буду вам благодарен,— отвечал Мухаммедраджаб,— назначьте только день, когда устроить вечеринку, я готов все сделать...

XXX

Мирзе Мухитдину вряд ли удалось бы привести Саиди на вечеринку, устроенную его зятем в знак примирения, если бы не вмешался Джамал Карими, который уговорил его. В самом деле: Мухаммедраджаб сам признал себя виноватым, первый попросил прощения, а кроме того — чем виновата была бедная сестра Рахимджана? Почему из-за Мухаммедраджаба он не может встречаться с сестрой?

Саиди почувствовал даже угрызения совести перед сестрой. Но он не представлял себе, что будет на вечеринке и как он помирится с зятем. Он накопил игрушек и сластей для детей сестры и явился в дом зятя с Мирзой Мухитдином и Джамалом Карими. Мухаммедраджаб встретил их за воротами и без всякого стеснения обнял Саиди. От него разлило водкой и луком. Никакой неловкости не произошло. Как только Саиди вошел в дом, сестра повисла у него на шее, расплакалась и увела его на кухню.

— Как ты мог так долго не вспомнить обо мне?.. Но теперь, видно, бог пожалел меня... Кто у меня есть, кроме тебя?

У Саиди тоже навернулись слезы на глаза.

— Что ж ты плачешь? Ведь я пришел же...

— Это он рассорил меня с тобой,— говорила сестра, ударяя кулаком по земляному полу.— Он мне пригрозил, что если я буду видеться с тобой, он со мной разведется.

А если я уйду от него, куда мне деться с тремя малыми детьми? Как говорится: небо далеко, а земля жесткая... Когда у него беда случилась, он так забегал... Так тебе и надо, думаю, чтоб ты сдох! Как-то он принес слух, что Рахимджан любит сестру Салимхана... не знаю, может, он видел тебя с нею... А теперь вот налог на него наложили — десять с половиной тысяч... И сразу же Рахимджан ему понадобился! Чтоб ему пропасть! Этот твой следователь ему попался на дороге... он с ним возился, говорил, что это друг Рахимджана... А сестру Салимхана он хвалит... Говорит, если Рахимджан захочет взять ее в жены, я все продам и женю его... Непременно женю, говорит, я знаю, как это устроить...

Разговор с сестрой словно вернул Саиди в эту семью, от которой он уже отвык. Но что-то в ее словах было ему неприятно. Мухаммедраджаб извинился с такой легкостью, что Саиди этого даже не заметил. Все уже были сильно навеселе. Джамал Карими, обняв Мирзу Мухитдина, жаловался, что нет правды в мире, а Саиди спрашивал у зятя, велик ли налог, и обещал ему помочь.

Но Мухаммедраджаб, даже когда гости ушли, и он остался наедине с Саиди, не стал говорить о налоге.

На этом и кончилась вечеринка в честь примирения.

Через неделю Мухаммедраджаб пригласил на плов одного Саиди. Саиди ждал, что теперь он заговорит о налоге. Но Мухаммедраджаб ничего не сказал. Он говорил только о Мунисхон, как будто у него не было других забот в жизни. В конце концов Саиди сам начал разговор.

— Советская власть придерживается жесткой торговой политики, — сказал он, глядя на огонек своей папиросы.

Мухаммедраджаб попытался улыбкой скрыть гримасу от только что проглоченной водки.

— Да уж... жесткой, дай им бог здоровья... И землю всю отобрали... Теперь лишь бы выплатить этот налог — и надо переходить на работу куда-нибудь в кооператив... так друзья советуют...

— А какой налог вам назначен? — спросил Саиди, чтобы зять мог уже все рассказать.

— Считая с задолженностью... десять с половиной тысяч, говорят... Ни в чем не разбираются, не выясняют ничего... не думают, что человеку трудно.

— Вы можете выплатить?

— Гм... Выплатить-то можно, да ведь, если заплатим, тогда скажут: «Значит, может платить», — и еще об-

ложат. Думаю: может, не платить и вовсе закрыть лавочку? Хорошо бы, если бы власти согласились на это...

— Почему они должны согласиться? Но, конечно, платить надо. Ладно, платите, а потом что-нибудь придумаем. У меня есть деньги... Все обойдется.

— Но вам самому деньги нужны... вам нужнее... Мунисхон ведь уже совсем невеста...

Саиди покраснел до ушей и перевел разговор на другое, ему не хотелось, чтобы зять говорил на эту тему.

— Этот ваш друг, Мирза Мухитдин его зовут,— сказал Мухаммедраджаб, поняв, что Саиди неприятен разговор о Мунисхон.— Может быть, он посоветовал бы, что делать... такой почтенный человек.

— Он — следовательно и к финансовым делам не имеет никакого отношения.

Мухаммедраджаб сделал вид, как будто только сейчас узнал от Саиди, кто его друг; потом стал говорить, что, если власть — дерево, то, потянув одну ветку, можно наклонить и другую.

Вскоре после этого, в один из «пьяных четвергов», Саиди напился до потери сознания. Наутро к нему зашел Мирза Мухитдин.

— Больше не буду пить,— сказал Саиди, показывая ему красную от крови слюну.— Как выпью, все десны болят. Надо закругляться...

Мирза Мухитдин рассмеялся.

— Куда там... И раньше выпивали немало, а теперь еще прибавился дом с выпивкой... Ведь ваш зять вас, конечно, не отпускает трезвым? Кстати, я рассказал Аббасхану, как я вас помирил с зятем. А он сказал: «Лучше бы Саиди держался от него подальше». Небось вчера вам все подливал?

— Какое там... ему сейчас плохо!

— Почему?

Саиди замолчал, но так как разговор не вязался, он рассказал, наконец, о делах зятя. Мирза Мухитдин задумался, потом заговорил совсем о другом. Саиди решил никогда с ним больше не говорить на эту тему. Но вечером, в тот же день, Мирза Мухитдин сам заговорил о нем и в неопределенных выражениях дал понять, что попробует помочь. Саиди передал это Мухаммедраджабу, тот улыбнулся загадочно, как будто знал что-то и не мог сказать. Саиди подумал: «Верно, хочет попросить в долг, или узнал какой-то другой способ»,— но ему не хотелось знать ни о том, ни о другом.

— Вы знаете Хайдара-хаджи? — спросил зять.

— Немного знаю. Неплохой человек... А что?

— Вчера меня позвали к Аббасхану-эффенди... Этот почтенный человек не знал меня, и я его не знал. Но, оказывается, он обо мне слышал. Мы хорошо побеседовали. Он, конечно, служит, но, видно, зарплаты ему не хватает. Он и говорит: действуйте вместе с Хайдаром-хаджи. Я не стал спрашивать, зачем. Но они сами догадались и сказали: «Потом узнаете все и сами поймете».

Но понимая, чего хотел Аббасхан, Саиди задумался и только потом спросил:

— А вы ему сказали про налог?

— Сказал. Налог с меня снимут, если начну новое дело с Хайдаром-хаджи. Но есть еще одно: если стану компаньоном Хайдара-хаджи, я должен к нему переехать. Я согласился. Пусть...

Мухаммедраджаб раздал имевшийся у него в амбаре товар, написал заявление, которое ему продиктовал Мирза Мухитдин, и подал в финансовый отдел; с помощью людей, указанных Мирзой Мухитдином, получил у нотариуса документ о том, что еще два года назад перевел дом на имя жены, и, приложив к этому документу свидетельство о разводе, состоявшемся будто бы полтора года назад, сдал все имущество жене, оказался гол, как сокол, и стал ждать продолжения игры...

По замыслу Мирзы Мухитдина, Мухаммедраджаб должен был быть привлечен к суду за неуплату налога, следствие должен был вести Мирза Мухитдин, суд должен был вынести решение о конфискации имущества. Все уже было готово, но дело чуть не испортил председатель махаллинской комиссии, знавший истинное положение Мухаммедраджаба. Тогда в областной газете появился фельетон, обвиняющий председателя во взяточничестве. Мирза Мухитдин немедленно принял меры предосторожности и приказал арестовать взяточника.

XXXI

У Мурадходжи-домлы все сердце изныло, пока он уговаривал Саиди переехать к нему в дом. Он уже был занят подготовкой ему помещения, когда узнал, к немалой досаде, что у Саиди есть зять, с которым он теперь помирился. Но потом, услышав, что Аббасхан придумал отправить Мухаммедраджаба из города, так обрадовался, что закричал: «Аббасхан — гений».

Мухаммедраджаб уехал в начале апреля, в конце

мая за ним последовала его семья. А вскоре в центральной газете появилась статья, которую домла давно ждал. В ней, хотя и указывались некоторые ошибки Мурадходжи-домлы, но высоко оценивались его заслуги в языкознании и выражалось ему сочувствие и уважение.

Кенджа тотчас откликнулся на это длинной резкой статьей и дал Саиди. Саиди прочел, рассмеялся и сказал, что лучше ее совсем не печатать, чем напечатать от имени Кенджи. Кенджа показал статью редактору. Но редактор стал говорить о том, что не хочет опять поднимать шум, что центральная газета знает, что пишет, и битый час разглагольствовал об этике журналистов. Потом он отдал статью Саиди и попросил отправить в редакцию центральной газеты, сопроводив своим письмом, Саиди на глазах Кенджи написал письмо, прочел ему и вложил в конверт вместе со статьей. Но в тот же вечер конверт, адресованный в редакцию центральной газеты, был распечатан Мурадходжой-домлой.

И Саиди, наконец, переехал в дом Мурадходжи-домлы.

Комната для гостей, на украшение которой было затрачено столько денег, стала теперь комнатой Саиди. Захочет — ляжет на диван, крытый бархатом, и любуется развешенными по стенам портретами восточных и западных писателей в золотых рамках и картинами, изображавшими восходы и закаты; захочет — возьмет одну из книг, выстроившихся на длинных полках шкафа, и, зарывшись в пуховые подушки, завернувшись с ног до головы в шелковое одеяло, читает. Пачка чистой бумаги на краю письменного стола и серебряная чернильница, которую держит в руках обнаженная женщина в позе приносящей дары, что называется, зовут к перу. В комнате тишина, даже его собственные шаги заглушает пушистый ковер. А стоит ему нажать кнопку у двери, из ичкари тотчас появляется служанка.

Но домла, сам создав все эти блага для Саиди, почему-то побанвается его, как будто в чем-то виноват. Входя, робко присаживается на край стула у дверей и извиняется, что побеспокоил. И все же находит предлог каждый день зайти к нему и просидеть час-другой. Таким предлогом явилось вскоре знакомство с Сорахон.

— Чего ты стесняешься, дуреха! — говорил домла еще в коридоре. — Ведь он тебе почти брат!..

Саиди услышал, встал и подошел к двери. Домла вошел смелее, чем обычно, ведя за руку Сорахон, и подтолкнул дочь к Саиди.

— Поздоровайся по-русски... будьте знакомы...

Сорахон, закрываясь рукой, посмотрела на Саиди сквозь растопыренные пальцы и жеманным движением протянула ему руку. Когда ее потная липкая рука коснулась руки Саиди, он вздрогнул от отвращения.

— Я уж давно ей говорю: зайди к брату, познакомься, а она все стесняется. Ну, чего ты стесняешься?

Сорахон сидела, закрыв лицо руками и широко расставив ноги.

— А ну вас! — сказала она капризно отцу.

Но с тех пор, как Сорахон перестала его стесняться, всякая просьба Саиди стала равносильна приказу, желание его стало законом в этом доме.

Когда Саиди переехал в дом Мурадходжи-домлы, Мунисхон, встречаясь с ним, говорила, еле сдерживая смех. Саиди спросил, почему она смеется. Мунисхон, вместо ответа, спросила, какие у него отношения с Сорахон. А Саиди и сам не знал, что сказать, какие у них отношения. Что бы он ни сказал, Мунисхон все равно не поверила бы, поэтому он промолчал, но твердо решил когда-нибудь рассказать Мунисхон, как противна ему Сорахон.

XXXII

Аббасхан был в гостях у Мурадходжи-домлы, а уходя от него, зашел в комнату к Саиди и засиделся у него. Он поинтересовался, почему так давно не видно новых произведений Саиди в печати, и побранил его за это. Саиди пытался объяснить это тем, что собирается писать большую вещь, но Аббасхан авторитетно заявил, что сначала надо завоевать читателей маленькими вещами.

— Так много сейчас тем, особенно для мелких рассказов. В жизни случаются события, которые прямо ложатся в рассказ. Вы читали последний рассказ Кенджи?

— Нет, — отвечал Саиди, — я вообще не читаю произведений Кенджи.

— Наш поэт зовет женщин, сбросивших паранджу, идти в промышленность. Он говорит, что свобода не ограничивается тем, чтобы сбросить паранджу, и требует равенства с мужчиной во всем. Но, по-моему, об этом еще рано говорить. Это не актуальная тема для сегодняшнего дня. Нужно призывать женщин, сняв паранджу, сохранить целомудрие. Не на завод их надо звать, а требовать, чтобы они оберегали свою нравственную чистоту. А этого можно достигнуть, если обличать женщин, сбившихся с пути.

Не жалея времени, Аббасхан целый час придумывал план небольшого рассказа на эту тему. Содержание примерно такое: женщина сбрасывает паранджу и уходит от мужа, обидевшись, что он не купил ей какую-то безделушку. Кишлячные кавалеры быстро развращают женщину. Из-за нее происходят драки, кого-то ранят ножом, кто-то попадает в тюрьму, и ей приходится покинуть кишлак и уехать в город.

Все это — нелепая фантазия, но портрет некрасивой героини уже готов у Саиди — только садись и пиши. Этой героиней с нелепыми манерами, с глупыми претензиями была Сорахон.

Саиди написал рассказ и отправил его в указанный Аббасханом журнал, а потом подумал, что вот рассказ будет напечатан, и вдруг Мурадходжа-домла узнает в героине свою дочь и рассердится. Но тут же он успокоил себя: «Ну и пусть сердится домла, зато Мунисхон засмеется, прочтя это. Она поймет, как я отношусь к Сорахон».

Недаром говорят, что черный жук считает своего, ребенка беленьким, а еж — мягоньким: домла не нашел никакого сходства своей дочери с героиней рассказа. Он даже прочел рассказ Сорахон. Она спросила: кто эта женщина? Когда же домла сказал, что ее выдумал Саиди, она ткнула пальцем в лоб Саиди и сказала: «Ничего, из вас выйдет толк».

Рассказ Саиди понравился всем его друзьям. Махмуджан-эффенди даже сказал Ильхаму, что не ожидал от Саиди такой острой вещи. Только Кенджа не одобрил рассказа. Но его мнение ничего не значило для Саиди — ведь он был уверен, что если бы умирал и дело было только за саваном, то Кенджа не пожалел бы ему для савана собственной шкуры.

Но вдруг разразился крупный скандал, и причиной его был опять Мурадходжа-домла.

Аббасхан попросил домлу сделать на очередном писательском собрании доклад: «Вопросы правописания в современной печати». Мурадходжа-домла с удовольствием согласился. Дано было объявление в газете, но редактор почему-то не назвал имени докладчика. Мурадходжа-домла, увидев это объявление, обиделся: «Значит, доклад им нужен, а имя докладчика их не устраивает? Какая же мне польза от этого доклада, если брезгуют моим именем? Не позволю себя унижать!»

Домла никому, даже Саиди, не сказал, что не будет

делать доклада. И вот Аббасхан должен был объявить на собрании, что доклад, ввиду неявки докладчика, переносится. Тогда Кенджа выступил, смело заявив, что тема доклада не так актуальна. Поэтому жалеть не о чем. Но следует воспользоваться тем, что все собрались, и поговорить о деле. Аббасхан спросил, какие есть предложения, и несколько человек предложили обсудить новый рассказ Саиди «Влюбленные», напечатанный в сельскохозяйственном журнале. Саиди растерянно посмотрел на Аббасхана, но тот сделал успокоительный жест: мол, ничего, не волнуйтесь. Когда же Кенджа стал разбирать рассказ, жест Аббасхана уже не мог успокоить Саиди. Кенджа обвинял Саиди в том, что его «Влюбленные» — прямой удар политике Советской власти в вопросе освобождения женщин. Рассказ агитирует в пользу антисоветских элементов в кишлаке, призывает к террору темные силы. А тот факт, что он напечатан в сельскохозяйственном журнале, тоже не случаен — тут уже пришлось заволноваться Аббасхану. Он поспешил закончить обсуждение и произнес свое заключительное слово.

Собрание закончилось.

— Они все договорились заранее, — сказал Саиди Аббасхану, идя домой. — Я это сразу почувствовал, когда увидел, с какой смелостью выступил Кенджа. Они все равно сорвали бы доклад, если бы домла и пришел.

— Вы, кажется, расстроились, — сказал Аббасхан, кладя руку на плечо Саиди. — А я знал, что так будет, когда подсказал вам эту тему. Будет жаль, если критика ограничится этим. Пусть критикуют и на собраниях и во всех газетах республики...

— Вы хотите, чтобы меня совсем втоптали в грязь? — с горечью сказал Саиди.

— Чем сильнее будут ругать ваше произведение, тем больше будет им интересоваться читатель, тем больше его будут читать.

И Саиди поверил этому, потому что не мог себе представить, чтобы у Аббасхана были дурные намерения.

XXXIII

С тех пор, как Мунисхон стала понимать разницу между полами, ей казалось, что она проходит перед бесконечным строем мужчин. Все мужчины мира выстроились в один бесконечный ряд. Пока она была мала, мужчины казались ей одинаковыми, потом она стала их различать; наконец, некоторые стали ей нравиться, она

оглядывалась на них, проходя. Теперь по какой-то непонятной причине ей захотелось выделить этих мужчин из общего строя, приблизить их к себе. Где-то в этом новом строю, рядом с собой или на краю света Мунисхон найдет неведомого мужчину, который станет для нее лучшим из лучших.

Но вот, после возвращения Салимхана из двухнедельной командировки, Мунисхон узнала потрясающую новость: брат хочет выдать ее за одного маргиланца по имени Мухтархан! Мунисхон несколько раз видела этого хилого, тщедушного, женоподобного человека. По случаю его приезда обязательно устраивались вечеринки с участием Аббасхана, Мурадходжи-домлы, Махмуджана-эффенди и других. И каждый раз, когда она случайно заходила в комнату, где они пировали, она заставляла Мухтархана разглагольствующим перед всеми. Перспектива стать женой этого хилого, болтливого женоподобного человека так ее ужаснула, что она, не дожидаясь заступничества матери, рискнула сама поговорить с братом наедине.

— Мухтархан — хороший парень, — сказал Салимхан, — мягкий, сладкоречивый, нежный, как девушка.

Мунисхон предпочла бы мужественное рукопожатие сильного парня «сладкоречню» и женственной изнеженности Мухтархана.

— Разве у меня нет своей воли? — спросила она.

— А тебе кто-нибудь нравится? — сказал, улыбаясь, Салимхан.

— Нет, но...

— Вот что, сестренка, перед тем, как говорить серьезно, давай условимся. Прежде чем возражать мне, ты должна помнить, что я твой старший брат, самый близкий тебе человек. Наш отец завещал мне свою отцовскую любовь и ответственность за тебя. Хочешь ты или не хочешь, но я обязан позаботиться о твоём счастье. Поняла?

Мунисхон молчала, уставясь в пол.

— Я знаю, что ты можешь мне сказать, — продолжал Салимхан. — Ты думаешь о «любви» и о «принуждении», тебе кажется, что замужество по любви лучше замужества по необходимости. Но, если подумать хорошенько, разница между тем и другим небольшая. И часто замужество по необходимости оказывается даже счастливее. Допустим, я тебя выдам замуж насильно. Пока ты привыкнешь к человеку, пока смиришься, тебе будет тяжело какое-то время. Вот это-то тебя и пугает. А между тем и в за-

мужестве по любви женщине тоже приходится пережить эту необходимость покорности, смирения. Мужчина, которого ты полюбишь, сначала покажет тебе только свою лицезую, светлую сторону. Все темное, грубое, злое ты увидишь только после свадьбы, и тебе придется смириться с этим. В чем же тогда разница между браком по любви и браком по разумному соглашению?

Муниسخон тотчас представила себе Саиди и подумала о его светлых и темных сторонах.

— Кроме того, — продолжал рассуждать Салимхан. — Что такое женщина? Женщина — это мать. Мать... а чтобы стать матерью, не обязательно выбирать между мужчинами.

— Но ведь и мужчина — отец! Почему же он выбирает себе девушку? — спросила Муниسخон с удивившей ее самое смелостью.

— Конечно, мужчина — тоже отец, но... Когда речь идет о любви, право выбора предоставлено мужчине, он выбирает, он любит. Женщина может только стараться вызвать его любовь.

— Вы хотите сказать, что женщина ниже мужчины?

— Погоди, погоди... Это так, и природу нельзя изменить никакими декретами. Возьмем хотя бы проблему потомства. Вот тебе пример: будь у женщины хоть двадцать мужей, родить она может только одного ребенка или вообще не родит. А когда у мужчины двадцать жен, могут родиться хоть десять детей... — Салимхан явно запутался, потерял основную нить мысли. Он должен был доказать, что женщина ниже мужчины, но забыл свои доказательства: Муниسخон его перебила:

— А что вы говорили в своем докладе на собрании работников просвещения? Вы тогда все твердили, что женщина имеет равные права с мужчиной, и никому не дали возразить...

— То был доклад, а сейчас я ведь не выступаю перед тобой с докладом.

Когда Муниسخон легла в постель в ту ночь, она стала думать о Мухтархане: может быть, он не женоподобный, а просто изнеженный? Ей сказали, что Мухтархан очень богат, и вот она стала мечтать. Женившись на ней, Мухтархан поправится, станет сильным, как настоящий мужчина; он выстроит для нее дворец; дворец будет окружен садом — там она будет отдыхать и мечтать. Посреди сада будет мраморный бассейн и в нем будут плавать золотые рыбки. Деревья будут шелестеть от ветра так мелодично...

— Нет, нет! — Ее вдруг всю передернуло. — Нет, упаси боже!

Муниسخон нашла фотографию Мухтархана, долго ее разглядывала и сделала целый ряд открытий: глаза у него были не такие круглые и навывкате, как ей казалось, и руки его не так уж темны и тонки; если его поправить, он будет нормальным мужчиной...

А потом Салимхан сказал ей как-то в разговоре очень резко: «Я думаю за тебя, тебе думать не нужно!» Услышав эти слова, Муниسخон поневоле стала искать в Мухтархане признаки того, что он может стать настоящим мужчиной. И нашла, а если поискать еще, найдет еще больше; но почему-то она часто, оставаясь наедине сама с собой, плакала. Она чувствовала себя человеком, которого ведут в тюрьму, не зная, за что и что его ожидает; она думала: бог с ним, лишь бы камера досталась получше, но ведь все равно ей придется примириться, куда бы она ни попала.

Теперь, когда она думала о Саиди, она старалась его достоинства обратить в недостатки, так же, как недостатки Мухтархана обращала в достоинства. Это так ее измучило, что Саиди, встретив ее на улице, сразу почувствовал недоброе.

— Что с тобой? Здорова ли ты? — спросил он с тревогой, вглядываясь в нее.

Она отвела глаза, передернула плечами.

— Никогда еще я не была такой здоровой, как сейчас.

— Ты так побледнела...

— Ты тоже...

В самом деле, Саиди тоже изменился, потому что он был занят таким же трудным делом, как и Муниسخон: его достоинства он превращал в недостатки. И разница между ними лишь в том, что Муниسخон, когда не может себя обмануть, — плачет, а Саиди пьет.

После долгого молчания Саиди спросил:

— Можно тебя поздравить? — Он сказал это быстро, слезы навернулись на глаза.

— Можно! — вызывающе ответила Муниسخон, сиюминутно показав, что будущий жених любим ею и что она считает себя вполне счастливой. Саиди не совсем поверил ей, но тем не менее почувствовал, что за одну минуту жизнь его сократилась на годы.

И он взял ее руку в свою.

— Между нами... — начал было он, но Муниسخон прервала его:

— Не надо, Саиди, не надо! Мы были близкими, очень близкими товарищами, и почему все это так случилось... я и сама не пойму!

Саиди медленно выпустил ее руку из своей.

XXXIV

Свадьба Мунисхон должна была состояться осенью. Саиди все последние месяцы, устав искать в Мунисхон недостатки, старался себя уверить, что совсем не собирался жениться на ней, что вовсе не любил ее, — успокаивал сердце вином.

Теперь уже всюду — на «пьяных четвергах», на встречах с Аббасханом, по вечерам вдвоем с домлой, и куда бы он ни пошел — Саиди не обходился без выпивки.

А Сорахон между тем все чаще стала заходить к нему в комнату. С некоторого времени и обед и чай стала ему приносить не служанка, а сама Сорахон, по вечерам она приходила спросить, не нужно ли ему чаю. Жена домлы тоже открыла лицо перед ним. Эта приземистая, худая женщина с землистым болезненным лицом при первой встрече с Саиди сказала только: «Будьте мне сыном», — а встретившись с ним второй раз, сразу принялась жаловаться на отвратительный характер служанки. Она говорила так резко, будто ругалась со служанкой, тонкие губы ее дрожали от гнева, бледное лицо стало серым, глаза покраснели. Саиди решил, что это и есть объяснение, почему еду ему приносит теперь Сорахон. И однажды, не зная, о чем с ней говорить, он спросил:

— Неужели служанка такая плохая?

Сорахон пренебрежительно махнула рукой.

— Мать моя сама любит поскандалить.

В самом деле, всякий раз, как мать Сорахон заходила в комнату, пахло назревающим скандалом.

Как-то вечером Саиди пришел домой трезвым и, так как собирался опять уйти, прилег на кровать, не раздеваясь, и лежал, думая о чем-то. Вдруг дверь тихо отворилась, вошла Сорахон с чайником. Саиди притворился спящим. Сорахон поставила чайник на стул у изголовья кровати и стала будить Саиди. Он все не просыпался. Сорахон решила, что он совсем пьян, осторожно разула его, накрыла одеялом и ушла.

Саиди встал, пощупал чайник — чай был холодный. Конечно, всякий знает, что пьяного надо разуть и покрыть одеялом, но поставить холодный чай у изголовья, чтобы, придя в себя, он мог легко достать его, — нет, на это спо-

собен не всякий! Значит, Сорахон позаботилась о нем, значит, она добрая! Он долго лежал, уставясь в потолок и раздумывая. Он вспоминал всех девушек, которых встречал до нынешнего дня. Сорахон среди них выделялась этим своим чайником. И в первый раз Саиди захотелось повнимательней к ней присмотреться.

Утром он собирался сказать, как благодарен ей за заботу, но почему-то завтрак принесла ему опять служанка. Сорахон в тот день не появлялась совсем, и три дня ее не было видно. На третий день, выходя с Мирзой Мухитдином из дома, он встретил ее у ворот. Она была в бархатной парандже с откинутой сеткой и перекликалась с какой-то девушкой через дорогу. Саиди отстал от Мирзы Мухитдина, чтобы поздороваться с ней. Прикрыв лицо от Мирзы Мухитдина, Сорахон проворно вбежала в ворота и столкнулась с Саиди, который с ней поздоровался.

— Что это значит, Сорахон, вы перестали ко мне заходить? — спросил он, глядя прямо на нее пьяными глазами.

Сорахон опустила глаза.

— Я ездила за город — поспели дыни... — И тихонько сняла с белой шелковой рубашки Саиди приставшую случайно какую-то ниточку.

Если уже чайник выделил Сорахон среди всех его знакомых девушек, то этот жест совсем приблизил ее к Саиди. Ниточка на белой рубашке — это ведь нехорошо. Чужой человек заметил бы, что это нехорошо, — и все. А Сорахон сняла эту ниточку, значит, ей не все равно, значит, она хочет, чтобы у Саиди все было хорошо!

Саиди попросил ее заходить почаще. Он сказал это, не зная, о чем еще с ней говорить, и ясно себе не отдавал отчета, зачем он это сказал. Но при этой встрече он сделал еще одно открытие: он увидел, что у Сорахон черные глаза и ресницы такие длинные, каких он никогда не видел.

Начиная с этого дня, он всякий раз при встрече с Сорахон открывал в ней что-то новое... И наконец пришел к выводу: Сорахон хоть и некрасива, но симпатична. А через неделю к этому заключению прибавилось еще одно: «Бывают девушки очень красивые, но несимпатичные. И красота не самая главная в человеке притягательная сила».

— Что такое любовь? — сказал Саиди Джамалу Карими, с шумом ставя на стол пустую рюмку. — Это просто животное влечение, страсть, которую мы разукрашиваем, как цветами, всякими чувствами... А когда цветы завянут, остается только голая страсть. Для брака любовь не

обязательна. Поэтому какая разница — красива женщина или некрасива?

Он так увлекся этими рассуждениями, что Джамал Карими подумал, не хочет ли он разочаровать его в девушке, которую тот любил.

— Все равно, есть любовь или нет, красивая жена лучше или некрасивая, все-таки я женюсь на своей девушке, — сказал он.

А Саиди было безразлично, женится ли Джамал Карими и на ком, только бы он согласился, что любви нет, и что для брака некрасивая жена лучше красивой.

Однажды Саиди готовил какой-то срочный материал для газеты, не пошел в редакцию и, не считая короткого перерыва на обед, работал весь день напролет. У него так устали глаза, что все предметы потеряли свои очертания, все стало смутным вокруг. Он встал, потянулся с силой, и вдруг в глазах у него потемнело, голова закружилась, зашумело в ушах. Он медленно вышел из дома и пошел по улице. Только что прошел небольшой дождь, прибил уличную пыль. Воздух был чист. Зеленели промытые дождем листья на деревьях, и в лучах заходящего солнца блестели на них дождевые капли. Саиди долго ходил, заложив за голову переплетенные пальцы. Он был так погружен в свои думы, что, вернувшись, забыл вытереть ноги и наследил по всей комнате. На крашеном полу грязные следы были очень заметны, возле двери остался даже кусок глины, отвалившейся от каблука. Заметив это, наконец, Саиди вышел, вытер ноги и сел опять за работу. Сначала ему работалось хорошо, но когда стемнело и он зажег лампу, ему стал мешать кусок глины, лежавший на полу у двери; он принес веник и только хотел подмести, как вошла Сорахон.

— Ой, боже мой, Рахимджан-ака! — воскликнула она, увидев веник в руках Саиди. — Я не велела мыть пол, потому что вы работали... Оставьте, не надо мести в поздний час, плохая примета...

— Я только чуть-чуть, — сказал Саиди, пряча от нее веник, — вот только уберу эту грязь...

Сорахон все-таки отняла у него веник и сама подмела комнату.

— Так задумался, забыл вытереть ноги. Старался не обращать внимания, но эти следы так и лезли на глаза...

Сорахон принесла тряпку и вытерла следы от его ног. Пока она занималась этим, Саиди пытался представить себе Сорахон своей женой: станет женщиной, пополнеет и будет совсем недурной...

— Скоро закончите работу? — спросила Сорахон, усаживаясь в кресле у окна. — Пора ужинать...

Голос ее показался Саиди нежным, грудь подымалась под шелком платья...

— Работу можно и прервать, да что-то аппетита нет... Может оттого, что весь день сидел на одном месте.

— А я целый день ходила — а все-таки и у меня аппетита нет. Это не от сиденья на одном месте... Дождь пошел, — я обрадовалась, думаю, вот будет прохладней...

Не закончив фразы, она подошла к столу. Саиди захотелось, чтобы она подошла совсем близко, но так как она не подходила, он встал и, опершись локтями о стол, придвинулся к ней.

— Вам, оказывается, как и мне, нехорошо в жару, — сказал он и взял ее за руку.

Руки Сорахон коснулась рука молодого мужчины. Она испуганно отшатнулась. Саиди отдернул руку, но, желая упустить удобный момент, сказал, оттянув кожу у себя на руке:

— Видите, я должен поправиться вот настолько...

Сорахон отвернула рукав и посмотрела на свою руку. Тогда Саиди попытался и на ее руке немножко оттянуть кожу, делая это с таким видом, будто трогает не девичью руку, а какой-то неодушевленный предмет, лежащий у него на столе. Сорахон отняла руку, отодвинулась и засмеялась. Этот смех был сигналом к тому, что произошло дальше.

Саиди схватил Сорахон за обе руки, притянул к себе, думая: «Что же это такое, что же это такое?» А потом сказал себе: «Сначала я ее поцелую, а потом выяснится, что это такое...»

XXXV

То ли Сорахон ему помешала своим жеманным отталиванием, то ли он боялся, что кто-нибудь войдет в комнату, но Саиди не удалось в тот день поцеловать Сорахон.

Сорахон опять исчезла на два дня, а когда появилась на третий день, озиралась пугливо, как необъезженная лошадка. Саиди взял ее руку, но опять почему-то не удалось поцеловать ее. Сорахон стала приходить к нему по вечерам каждый день. Он пробовал обнять ее, но чего-то все доставало. Он подумал: «Для того, чтобы нам стало хорошо, нужно влечение с обеих сторон». Прошло еще три недели, и стало явно, что и Сорахон влечет к нему. Но он был все еще недоволен. Проанализировав свое поведение,

он пришел к такому заключению: «Страдать от любви к одной — красивой девушке и развлекаться, мороча голову другой, — некрасивой, — это болезнь молодости».

Конечно, он развлекался. Эти поцелуи были совсем не похожи на те, какими человек хочет утолить жар настоящей любви.

Как ни старался Саиди уверять всех, и особенно самого себя, что жениться лучше на некрасивой, что любовь — просто животное влечение, только приукрашенное чувствами, как ни старался найти в Муниسخон недостатки, Муниسخон все равно оставалась Муниسخон. Одно только воспоминание о первой встрече с нею развевало, как шелуху, все его теперешние мысли.

...Зачем Саиди поступил в университет? Только для того, чтобы стать вровень с теми, на кого могла бросить взгляд Муниسخон. Почему он теперь изо всех сил добивается богатства и известности? Лишь потому, что и богатство и слава могли выделить его среди других мужчин и заставить Муниسخон обратить на него внимание.

Но он опоздал. Пока он старался подняться по ступенькам общественной лестницы и стать выше других, какой-то неведомый человек — Мухтархан — какими-то неведомыми достоинствами покорил Муниسخон.

И все же Саиди еще на что-то надеялся. Он чувствовал себя накануне какого-то события, которое должно было возвысить его еще больше, и ему казалось, что какой-то новый шаг его вызовет шум во всей республиканской печати. Но почему же молчит печать, почему слова Аббасхана: «Саиди станет гордостью узбекской литературы», — не напечатаны в газетах крупным шрифтом, — ведь это знает не один Аббасхан, это все знают! Тонкий ценитель талантов, Мурадходжа-домла израсходовал на него столько денег, Махмуджан-эффенди, сравнив его с писателями, которых видел в Турции, сказал: «Рахимджан проходит за неделю путь, который другие не пройдут за год...»

А на самом деле Саиди не только не поднялся высоко в литературе, но не одолел даже первой ступеньки. За все время он написал только «Каландара» и «Влюбленных», небольшую повесть, несколько маленьких рассказов и несколько стихотворений — вот и все, что было у него. Общаясь с критиками и видными представителями своего круга, он мог бы уяснить, в чем секрет мастерства и известности, но понял только одно: «Мир испорчен и становится все хуже». Саиди, который раньше был молчаливее самого Якубджана, теперь становился болтлив, как

Махмуджан-эффенди. Все его литературные способности выражались в том, что он умел поддерживать беседу с людьми, тоже понимающими, что мир испорчен. А про тех, кто не соглашался с ним, он говорил, что у них в голове не хватает важного винтика. Ну, а что касается таких людей, как Кенджа и Теша, то им не хватает целого зубчатого колеса.

У одного только человека головной механизм работает исправно — у Ильхама. Он понимает Саиди с полуслова, достаточно намека, даже жеста, чтобы он сообразил, в чем дело. Стоило, например, Саиди однажды выразить на лице недовольство текущей политикой — Ильхам мгновенно понял и согласился с ним. Саиди даже подумал тогда: «Есть только два умных человека — я и Ильхам».

— Я думаю, и мы не хуже других, — сказал однажды Якубджан, толкнув Саиди в бок, когда они были в типографии. — Или, если мы — хуже других, вы так и скажите..

— Что сказать? — удивился Саиди, просматривая гранки.

Якубджан не ответил и подошел к прессу, чтобы оттиснуть набранную им заметку. Но так как метранпаж не дал ему это сделать, сказав, что на это нужно специальное разрешение, Якубджан замолчал и принялся разбирать набор. Слова метранпажа задел и Саиди, который тоже иногда сам набирал написанные им статьи.

— Мы, конечно, не хуже других, — сказал Саиди, когда они вышли из типографии. — А в чем дело?

— Все собираются, устраивают вечеринки, а мы почему-то не можем. Осень — самое подходящее время для гапа. Надо по очереди собираться друг у друга.

Саиди дал понять, что если те, кто будет собираться, — «люди мыслящие», то он готов участвовать в организации гапа. Якубджан назвал ему участников. Среди них были малознакомые Саиди люди, например, бывший секретарь исполкома, а теперь директор техникума Закирхан.

Саиди встретил Закирхана в доме у Салимхана в тот день, когда следователь Мирза Мухитдин рассказывал, как начал следствие по поводу одного рассказа, и жаловался на трусость писателей.

Во время проведения земельной реформы Закирхан был одним из тех ответственных работников, кто подавал заявление в областной комитет партии. Группа была разоблачена: несколько человек исключены из партии, другие раскаялись и доказали искренность своего раскаяния при проведении реформы. Закирхан же каялся притворно и че-

рез несколько месяцев вновь организовал антипартийную группу. Она также была разгромлена. Уцелели только он и еще один его единомышленник.

Как игрок, всеми правдами и неправдами добывающий деньги, чтобы сразу их все проиграть, так и Закирхан: всякий раз терял все, вместе с новой, организованной им, группой. Это повторялось столько раз, что уже весь город знал его, на него показывали пальцами, называя его «группировщиком». Стоило ему показаться на улице с чемоданом в руках, все уже знали, что он отправляется в центр подавать очередное заявление. В этой неравной борьбе он готов был ухватиться за любую руку, которую ему протягивали, даже не глядел в лицо тому, кто протягивал. Он был недоволен миром, так недоволен, что на первой же вечеринке очаровал Саиди.

Вначале их было всего пятеро, к концу месяца стало девять, и Саиди всеми был доволен.

— Кто бы что ни натворил на нашей вечеринке, мы не запишем в книгу грехов, но все, о чем здесь говорится, должно остаться тайной — это обязательно, — сказал как-то Якубджан, усердно обгладывая кость.

Закирхан засмеялся.

— Да уж, не будем и здесь выяснять идейную платформу... Здесь не собрание интеллигенции!..

Разговоры, которые вначале казались опасными, постепенно стали обычными на этих собраниях. И хотя в представлении Саиди мир был испорчен, на этих вечеринках он чувствовал себя хорошо, именно здесь он убеждался, что его уважают и ценят.

Как-то раз худой, тонкоголосый, как Махмуджан-эффенди, какой-то учитель, выпив сверх нормы, стал бить себя в грудь.

— Вот я сыт, ем плов с казы, но мне все кажется, что я отравлен... На съезде интеллигенции меня ругали. Ну и пусть!..

Джамал Карими посмотрел на Закирхана, тот — на Саиди. Саиди опустил глаза.

— Что же надо делать? Что? — спрашивал учитель.

— Нужно организовать, — сказал Закирхан с усмешкой, — нужна организация.

Все понимали, какая именно нужна организация.

Якубджан, облизываясь, как кот, укравший мясо, оглядывал всех исподлобья.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

На свадебной неделе в доме Салимхана Саиди в первый раз увидел Мухтархана и был поражен. Что же в нем особенного — в этом невзрачном, неказистом человеке? Вдавленная переносица, глаза тусклые, как грязные бусинки, скулы сильно выдаются, уши торчат, как два веера. И уже седина пробивается в волосах и в бороде. Неужели Мунисхон польстилась только на его богатство? А может быть, в нем все-таки что-то есть? Ведь за что-то уважают его, Мухтархана, обычного учителя начальной школы, все — от Аббасхана до Махмуджана-эффенди. Махмуджан-эффенди, здороваясь с Мухтарханом, так низко кланяется, как будто хочет поцеловать ему руку. И Саиди, увидев, как Мухтархан шутил, смеялся, называя на «ты» Аббасхана и Салимхана, решил, что «во всяком случае этот человек владеет какой-то тайной, у него ключ от чего-то очень важного».

И так же, как когда-то он думал о доме, где жила Мунисхон: «Пусть ворота у него ничем не примечательны, зато внутри таинственно, как в сказке», — так и теперь, глядя на непривлекательного Мухтархана, он каждую минуту ждал от него какого-то чуда.

— Да, кстати... чуть было не забыл... вам поклон от вашего зятя, — сказал Мухтархан, играя в шахматы с Мирзой Мухитдином.

Саиди даже вздрогнул: он не мог и подумать, что Мухтархан знает Мухаммедраджаба.

— Спасибо, — растерянно отвечал Саиди. — Оказывается, вы знакомы. Я давно уже не получаю вестей от него.

Мирза Мухитдин угрожал королю, и Мухтархан, обдумывая свой ход, заметил, словно между прочим:

— Ему нельзя писать...

Саиди удивился, подумал, что Мухаммедраджаб, может быть, в тюрьме.

— Где он сейчас?

— Гарде! — сказал Мухтархан и только хотел ответить Саиди, как Мирза Мухитдин ходом пешки вновь поставил его в трудное положение, он снова увлекся обороной и растерянно сказал:

— В Узгене... Шах! Гм... Да, а Узгене... нет, нет, не открывайте короля... в Узгене...

— Что он делает в Узгене? — удивился Саиди.

Аббасхан засмеялся, Мухтархан, задумав выиграть партию у Мирзы Мухитдина, оставил без ответа вопрос Саиди. Аббасхан встал, подошел к Саиди, положил ему руку на плечо и опять засмеялся.

— Вы не хотите, чтобы он был в Узгене?

— Что он делает в Узгене? — повторил Саиди, у которого смех Аббасхана вызвал какие-то подозрения. — Это правда, что он в Узгене?

— Не знаю. Эй, Мухтар, где Мухаммедраджаб?

Мухтархан не ответил. Аббасхан обнял Саиди и повел к дивану.

«Откуда он знает Мухаммедраджаба?»

— Ну-ка, посмотри на меня, Мухтар! — сказал, продолжая улыбаться, Аббасхан. — Откуда ты знаешь Мухаммедраджаба?

Но Мухтархан был занят игрой.

— Шах... шах... мы всех знаем... всех... Это вы только нас не знаете... Шах, шах... Мат!

Он выиграл и раскраснелся от удовольствия.

— Вы нас не знаете, зато мы вас хорошо знаем. Мы знаем Рахимджана Саиди, — сказал он, выстраивая шахматные фигуры для новой партии.

Аббасхан успокоил Саиди, подтвердив, что Мухаммедраджаб действительно в Узгене, но объяснить, почему он там, не стал.

В этот вечер Мухтархан чем-то расположил к себе Саиди — настолько, что на другой день он сказал Якубджану: «Кажется, Мухтархан — мыслящий человек». Якубджан же говорил о нем так, будто на всем белом свете если и есть человек с совершенным головным механизмом, то это — Мухтархан.

— Многое повидал этот человек, — сказал он. — Я знаком с ним недавно, но знаю: он все может.

— Он — наш единомышленник?

— Этого я не могу сказать... Во всяком случае, если узнает про наши дела, доносить не пойдет...

Но всего, что Саиди узнал о Мухтархане, все же было

недостаточно, чтобы представить его женихом Муниسخон. Саиди так и не понял, почему она выбрала этого сморчка, какой волшебной силой увлек ее этот хилый человечек.

В день свадьбы Муниسخон с Мухтарханом Саиди заперся с утра в своей комнате и пил горькую. Воспоминания — одно за другим — не давали ему забыть, и, чем больше он пил, тем труднее ему было. Он не смог пойти на свадьбу, да и не хотел там быть. Сорахон на другой день рассказала ему: Муниسخон на свадьбе так рыдала, что Салимхан избил ее. Вообще на женской половине дома было невесело.

— Я слышала, что вы были влюблены в мою подругу Муниسخон... — сказала как-то вечером Сорахон, сидя в комнате Саиди.

Саиди в это время доставал что-то из книжного шкафа с зеркальными стеклами, которые отражали яркий электрический свет, но услышав эти слова, вздрогнул и, забыв про книгу, оставив незакрытой дверцу шкафа, повернулся к Сорахон.

— Если мы бывали вместе, разве это значит: любили? Правда, мы часто занимались вместе, бывали вдвоем, но относились друг к другу по-товарищески... Бескорыстно...

— Ах, боже мой... Бескорыстно! Парень с девушкой ходят вместе, всегда вдвоем и, оказывается, только по-товарищески!

— Почему же нет? Вот ведь мы с вами сидим вдвоем, часто остаемся одни... И сейчас вот... разговариваем просто, по-товарищески...

— А то что мы целуемся и обнимаемся, это тоже считается по-товарищески?

Смущенный Саиди закрыл шкаф и вернулся к столу. Ему стало стыдно за свои слова.

Несколько месяцев назад, знакомя Саиди с гостем, приехавшим из Киргизии, домла назвал его своим зятем. Саиди теперь обедал вместе со всей семьей в ичкари, в доме его считали правой рукой домлы. Однажды, когда они выпивали вдвоем с домлой, тот сказал ему: «Рахимджан, вы не наделяйте глупостей с Сорахон... Все свое время...» Вот как далеко зашло дело, а он еще уверял Сорахон, что беседует с ней по-товарищески. Он удивлялся, что она после этого не ушла, не расплакалась. Он постарался задобрить ее. Но в тот день он впервые отдал себе отчет в том, что происходит, и, почувствовав, куда его несет течение, закрыл глаза и махнул рукой: будь что будет!..

Примирившись с мыслью, что ему придется жениться

на Сорахон, он уже открыто стал вести себя в доме как жених, как будущий зять.

Скоро об этом стало известно всем родственникам и знакомым, и мать Сорахон говорила всем: «Я всегда мечтала о таком муже для нашей единственной дочери, который жил бы у нас в доме — и вот бог услышал мое желание».

Мурадходжа-домла тоже был доволен. Он теперь заходил к Саиди в комнату не просто как его покровитель и доброжелатель, но и как тесть. Он победил в этой игре.

Приучая себя к мысли о женитьбе на Сорахон, Саиди невольно начинал думать, что эта женитьба даст ему в руки ключи от всех богатств домлы. И домла поощрял эти мысли. Он советовался с Саиди обо всех своих делах, о налоге на имущество, о том, какого быка отправить в поле. И Саиди поневоле ощущал себя таким же владельцем всего, как и домла. Тем более, что в последнее время домла не просто советовался, но и стал прямо спрашивать разрешения и всегда слушался Саиди.

Итак, Саиди со своей «некрасивой, но симпатичной» супругой должен стать наследником Мурадходжи-домлы! Но, когда домла заговаривал об этом, Саиди понимал, что домла еще не собирается умирать, пока не преумножит свои богатства.

И земля, и вода на полях, и дом, стараниями нескольких поколений отделанный, как дворец, и «райский сад» — все теперь принадлежит Саиди. И валяющаяся под погами солома, и громоотвод на крыше — все привлекает его внимание, вызывает его беспокойство, начиная с ободранной коры дерева, кончая отсыревшим от дождей дувалом.

Иногда по ночам, лежа без сна в мягкой постели, Саиди мечтал. Он — всемирно известный писатель, как тот знаменитый американский редактор, пишет каждый день что-нибудь короткое — на одну колонку и получает за это двенадцать тысяч золотом в год; из разных стран к нему текут франки, доллары, рупии; наконец, он оставляет этот шумный, полный суеты и несчастий город, и, подобно североамериканскому писателю Торо, удаляется на лоно природы; он поселяется во дворце, построенном в самом прекрасном уголке долины, наслаждается чистым воздухом и, слушая, как его жена играет на рояле, любит свою долину с пасущимися на ней стадами овец, табунами лошадей, видит растущие на склонах гор миндальные и арчовые деревья, чистую зелень трав и блестящие под солнцем серебряные ленты арыков. Позади его дворца

раскинется сад, в котором будут вызревать все растущие на земле плоды. Силой золота Санди заставит здесь цвести лотос и расти финиковые пальмы, апельсины... Санди так часто мечтал об этом, и эти картины так ясно вставали в его воображении, как будто он только что оттуда вернулся.

Но все это были мечты, фантазия, которую надо превратить в реальность. Переезд в мехманхану домлы был первым шагом к той волшебной долине, к сказочному дворцу, к небесной Ариадне, у ножек которой воркуют голубки и пчелы пьют нектар из цветов.

II

Мавлянкулов, председатель махаллинской комиссии, арестованный ради спасения Мухаммедраджаба, пробыл в тюрьме больше года — такова была мера предосторожности со стороны Мирзы Мухитдина. Неизвестно, как отнеся к этому сроку сам арестованный, а его жене с полторагодовалым ребенком он показался просто невыносимым.

До того, как мужа посадили, они кое-как перебивались, но не прошло и недели после его ареста, как нужда поселилась в доме. Через два месяца не осталось уже ничего, что бы можно было продать. В таких случаях говорят: «Для женщины ичкари небо стало далеким, земля твердой» Оно и понятно! Не могут же родные кормить ее всю жизнь! А что может сделать она сама? Даже грамоты не знает.. А если бы и знала? Нельзя же сидеть за письменным столом в парандже! Ладно, пусть бы не за столом работать, пусть хоть носилки таскать! Но и для этого необходимы открытое лицо и свободные руки.

Через восемь месяцев активисты махалли и друзья мужа по работе написали заявление в суд с просьбой отпустить обвиняемого на поруки. Следователь Мирза Мухитдин заявил, что взяточника Мавлянкулова нельзя отпустить на поруки.

Мавлянкулов вначале обвинялся только во взяточничестве, но время шло, и обвинения все росли; оказалось, он был и взяточник, и бабник, и противник раскрепощения женщин; его дед был табибом, убил человека, увел его корову и зарезал. Словом, Мавлянкулов оказывался подозрительным человеком. Если бы какой-то чудак захотел составить список плохих людей на земле, первым он должен был бы поставить Мавлянкулова. Мавлянкулов обвинялся по всем статьям уголовного кодекса. Следователь объявил это тем, кто хотел взять Мавлянкулова на поруки,

и засмеялся при этом. Так ничего и не вышло у тех, кто хотел помочь ему. Как быть? Взять на поруки нельзя. Тогда надо ускорить суд. Один из активистов махалли дал в руки жене заявление, где говорилось о тяжелом положении семьи, и послал ее к следователю Мирзе Мухитдину.

Для женщины, никогда не переступавшей порог каково-либо казенного учреждения, пойти с заявлением в суд — все равно что броситься в реку, не умея плавать: что такое суд и какие сидят там люди — она не могла себе представить, и сердце ее переполнил страх. Но что же делать, когда на человека сваливается беда, он пробует не только плавать, но даже летать. Однако учреждение, где был суд, оказалось вовсе не страшным. Обыкновенное здание — и люди такие же, каких она видела всюду. И суд то весь состоял из столов и бумаг. Но когда она очутилась перед дверью следователя, ее опять охватил страх. Кабинет был украшен красными знаменами, по стенам развешены портреты государственных деятелей. За большим столом, покрытым красным сукном, сидел сам Мирза Мухитдин. Он взял ее заявление и, указав на стул, предложил сесть. Прочтя заявление, бросил его на стол, нахмурил свои тонкие черные брови, заложил руки в карман галифе, встал и заходил взад-вперед по комнате. Довольно долго длилось молчание, потом он остановился, еще раз глянул на заявление и изобразил на лице возмущение.

Из-под черной сетки паранджи была видна беленькая рука, подавшая ему бумагу.

— Кем вам приходится Мавлянкулов?

Женщина промолвила сквозь слезы:

— Муж он мне...

Глаза Мирзы Мухитдина не могли оторваться от дрожащей белой руки.

— Советская власть беспощадна к взяточникам. Взяточник — враг Советской власти. Ваш муж — противник Советской власти...

Женщина плача прервала его:

— О, господи... Братец-судья, это все клевета... его оговорили... Он бедный штукатур... И никогда не шел против власти... Наоборот, всем разъяснял, какая власть.

— Ну, как же он не против?.. Вот и вы, его жена, вы тоже против Советской власти. Почему до сих пор не сбросили паранджу? Разве вы не знаете, что Советская власть велит женщинам сбросить паранджу?

Женщина испуганно умолкла. Она готова была хоть сейчас сбросить паранджу, но было как-то неловко.

— Или вы только сюда пришли в парандже? — сказал Мирза Мухитдин, как бы почувствовав эту ее готовность.

— Я сейчас... только мне стыдно... — сказала женщина и откинула с лица сетку.

Она немного побледнела из-за пережитых волнений, но все же, увидев это чистое нежное лицо, этот рот, похожий на бутон красной розы, эти длинные ресницы, на которых блестели слезинки, Мирза Мухитдин дрогнул, глаза его загорелись; но он не показал виду и, сдвинув брови, стал опять читать заявление.

— Хорошо, так вы говорите, что он — штукатур? Какой штукатур — зажиточный или бедный?

— Мы нездешние... ничего у нас нет...

— Ну, ладно. Я сейчас прикажу. Найдут его дело и покажут мне. Но завтра я еду в центр и пробуду там, может быть, целый месяц. Поэтому, если хотите получить ответ на ваше заявление, постарайтесь сегодня вечером прийти вот сюда...

И Мирза Мухитдин дал адрес.

— Хорошо, — сказала женщина, взяв адрес.

Мирза Мухитдин потянулся и взял трубку телефона.

Женщина поняла: если она сегодня вечером не пойдет за ответом, завтра следовательно уедет надолго. Поэтому, выйдя из суда, сразу пошла разыскивать дом по данному ей адресу и села ждать на улице.

Вечером, на закате, с шумного перекрестка прикатила коляска, запряженная парой лошадей, остановилась возле дома, из нее вылез Мирза Мухитдин и, не оглядываясь, вошел в дверь.

Женщина подождала полчаса, поднялась и тоже вошла во двор. Там ее встретил Джамал Карими и ввел в комнату для гостей. Женщина остановилась у порога и сняла паранджу. Мирза Мухитдин возлежал на шелковом одеяле, облокотившись на подушку, и курил папиросу. Переступив порог, женщина сделала два шага и хотела опуститься на пол, но Мирза Мухитдин пригласил ее сесть рядом. Женщина свернула паранджу и сетку, сунула под стол, стоявший у окна, и, ступая боязливо, как по льду, который мог в любой момент обломиться, подошла и дрожа присела на край одеяла.

Лицо ее, истомленное заботами и невзгодами, было мертвенно бледно. В наступившей тишине было слышно, как где-то бьется в предсмертном испуге попавшая в паутину муха.

— Усаживайтесь поудобнее! — сказал Мирза Мухит-

дин, глядя на нее сузившимися глазами. — Чувствуйте себя свободней, здесь ведь не учреждение...

— Я и так хорошо сижу...

Мирза Мухитдин, начав говорить серьезно, вдруг сменил тон на легкомысленный, уговаривая женщину сесть поближе.

— Я просмотрел дело, — сказал он, кладя подушку у ног женщины. — Дело серьезное...

Он облокотился о подушку, которая касалась колен женщины, и улыбнулся. Женщина вся сжалась, хотела отодвинуться, но Мирза Мухитдин взял ее за плечи и притянул к себе. В голове женщины мелькнуло: «Что делать? Не ждать ответа на заявление и убежать? Плюнуть в это, искаженное желанием, отвратительное лицо? Сказать, что пожалуюсь Ахунбабаеву? Закричать, позвать на помощь? Или закрыть лицо руками и заплакать?»

Кажется, это было единственное, что она могла сделать, и она заплакала.

— Ну, ну, не расстраивайтесь, — сказал Мирза Мухитдин и обратился к вошедшему с дастарханом и бутылкой Джамалу Карими: — Следствие давным-давно было бы закончено, но все время открываются новые и новые улики... Ну, что ж, мы что-нибудь придумаем...

Джамал Карими разлил по рюмкам вино и одну протянул женщине.

— Выпейте с горя!

Женщина отказывалась, плача. Как ни уговаривал ее Джамал Карими, она не хотела выпить, тогда Мирза Мухитдин, сев перед ней на корточки и пообещав ускорить суд, все-таки заставил ее выпить вино.

И, действительно, через два дня дело было передано в суд.

Народный судья, получив это дело, долго ломал голову над ним и не мог найти состава преступления. «В чем же вина этого человека?» — спрашивал он себя и не мог ответить. Пришлось взять дело подмышку и пойти к старшему следователю.

Выслушав судью, старший следователь вызвал Мирзу Мухитдина.

— В этом деле все недоказательно. Очевидно, здесь сведение личных счетов.

Мирза Мухитдин сделал вид, будто припоминает, о каком деле идет речь, взяв его в руки, полистал и спросил удивленно:

— Какие же тут могут быть личные счета?

— Обвиняется во взяточничестве, а ни доказательств, ни свидетелей нет. Обвиняется в том, что противился раскрепощению женщин, а ни одного конкретного примера в деле нет. Обвиняется в изнасиловании, а пострадавших нет. И так далее, и так далее... В конце концов, за что же его судить? Восемь лет я работаю в судебном ведомстве, но такого бессмысленного, раздутого из ничего дела еще не видел.

Мирза Мухитдин задумался и стал тереть лоб, потом, сдув с бумаги пыль, достал из дела газетную вырезку.

— Дело вот в чем... Его обвинила во взяточничестве газета. Надо оберегать авторитет газеты, престиж партийной печати... Основная его вина, значит, в этом. Все остальное лишь свидетельствует, что с его стороны возможны были и другие преступления. Конечно, судить его надо за взяточничество...

— Но ведь оно не доказано. Я думаю, что авторитет партийной печати пострадает от такого суда.

Мирза Мухитдин рассердился.

— Он — взяточник, я лично могу это подтвердить.

— Но в деле нет документа...

— Есть!

— Так покажите, если он есть, — сказал разгорячившись судья.

— Живого свидетеля не подошьешь к делу.

— А-а! Я знаю, о каком живом свидетеле вы говорите! Он сам должен бы отвечать перед судом за свои темные делишки. Он спекулянт, тайно торговал шелком и был пойман. Нет, я не могу взять на себя ответственность за ведение этого дела.

— Конечно, человек, который хочет подорвать авторитет партийной печати, не может взять на себя такую ответственность...

Назавтра Мирза Мухитдин вызвал жену Мавлянкулова и напугал ее: «Вот я направил дело в суд для скорейшего решения, а народный судья Ибрагимов опять все затягивает. Боюсь, твоего мужа расстреляют». Женщину ошеломило такое сообщение, она не подумала о том, почему совершенно незнакомый судья мог так ополчиться на ее мужа, она испугалась до смерти, что останется вдовой с малолетним ребенком на руках. И Мирза Мухитдин научил ее пойти в редакцию областной газеты и сказать там, что народный судья Ибрагимов требовал с нее взятку и говорил ей всякие неприличные слова. Принял ее Саиди, с которым обговорено было все заранее.

Через несколько дней в газете за той же подписью, что и заметка, обвинявшая когда-то Мавлянкулова во взяточничестве, появился фельетон. Автор подробно, как будто сам присутствовал при этом, рассказывал, что судья Ибрагимов не только потребовал с женщины взятку, но, вызвав ее к себе домой, пытался изнасиловать, она едва вырвалась, оставив в руках пьяного судьи обрывок платья.

И вот состоялся суд над Мавлянкуловым, он был осужден на пять лет. Наконец ему дали свидание с семьей.

Жена сказала ему, обливаясь слезами:

— Сколько горя вы причинили мне, сколько поганых дел натворили! Что же со мной, бедной, теперь будет!..

— Все это неправда, жена! В чем тут загвоздка, я до сих пор не понимаю. Не могу представить себе, кому так нужно было, чтоб я был арестован и на пять лет посажен в тюрьму. Когда-нибудь все раскроется, может быть, обнаружится подоплека всего этого. А пока, что ж, ничего не поделаешь, что случилось, то случилось. — И чтобы жена не увидела, что он плачет, Мавлянкулов нагнулся и поцеловал сына. Затем, справившись с собой, продолжал: — Трудно вам придется теперь... Но раз уж беда свалилась на голову, ничего не поделаешь. Меня увезут сегодня... далеко — на поезде. Теперь ты... может быть, тебе пойти работать на шелкомотальную фабрику?

— Я тоже думала об этом, — сказала жена. — Багиджанова жена там работает...

— Так и сделай. Живы будем — увидимся. Когда-нибудь все раскроется... А плакать не надо. Значит, так: поспевай на работу. Вечером приходите на станцию проводить меня.

Сдерживая слезы, он взял на руки сына. Надзиратель объявил конец свиданию. Мавлянкулова увели. Видя, что он уходит, ребенок заплакал:

— Папа уходит... ушел мой папочка!

III

Саиди благодарил Мирзу Мухитдина за то, что он спас его зятя от беды. В самом деле, Мирза Мухитдин многим рисковал в этом деле. И, конечно, он ждал более существенного выражения благодарности от самого Мухаммедраджаба. Саиди понимал это и собирался по приезде зятя устроить от его имени пирушку для Мирзы Мухитдина.

Мухаммедраджаб приехал вместе с Хайдаром-хаджи и

Мухтарханом. Саиди думал, что зять еще ничего не знал о происшедшем и, услышав новость, обрадуется. Но оказалось, что Мухаммедраджаб уже знал — и даже лучше Саиди — все подробности дела, однако он не счел нужным сказать спасибо Мирзе Мухитдину за то, что он так о нем позаботился. Саиди решил, что зять сам будет лично благодарить своего спасителя, больше об этом не заговаривал.

За время своего отсутствия Мухаммедраджаб сильно растолстел, лицо его так и лоснилось от жира. Он был весел и чувствовал себя превосходно. Хаджи и Мухтархан, пробыв всего один день в городе, уехали в центр. Мухаммедраджаб остался дожидаться Хайдара-хаджи. Хаджи, обещавший вернуться через два дня, через неделю прислал телеграмму, что он задерживается в центре еще на некоторое время. Все эти дни Мухаммедраджаб проводил в комнате Саиди. По утрам, когда Саиди уходил на работу, Мухаммедраджаб оставался дома, а когда Саиди возвращался, зять уходил и являлся только под утро. Саиди было неловко перед Мирзой Мухитдином, он сердился на зятя и про себя называл его бессовестным.

Прошло несколько дней, а Мухаммедраджаб даже не упоминал имени Мирзы Мухитдина.

Как-то ночью, когда Мухаммедраджаб вернулся раньше обычного, Саиди спросил его:

— Разве Мухтархан тоже участвует в ваших делах?

Он спросил это просто потому, что не знал, о чем говорить.

Но Мухаммедраджаб отвечал с запинкой:

— Вы подумали так, потому что он уехал вместе с хаджи? Нет, он в наших делах не участвует. У него совсем другие дела.

Этот уклончивый ответ не понравился Саиди, хоть он и спрашивал только из любопытства. Мухаммедраджаб вообще был слишком неразговорчив теперь, и Саиди иногда спрашивал себя: «Почему он не откровенен со мной? Что мешает ему говорить со мной свободно?»

— Вы что-то стали очень пугливы... чего вы боитесь? — сказал он при встрече.

— Почему вы так думаете?

— Так получается... с тех пор, как приехали, ни разу со мной не поговорили без утайки. Как только я прихожу, вы уходите...

— Ну, что вы, Рахимджан, как можно так думать? Какие у меня могут быть дела, чтобы скрывать их от вас?.. А по вечерам я ухожу, чтобы вам не мешать... Вы по вечерам

работаете... А я встречаюсь с давнишними приятелями, которых не видел столько времени...

— Нет, вы просто не считаете нужным мне рассказывать о себе... Ведь я до сих пор не знаю, чем вы сейчас занимаетесь, что у вас за дела, как вы живете.

Саиди был всерьез обижен. Тогда Мухаммедраджаб, как пройдоха-портной, не выполнивший вовремя заказа, принялся заливать обиду сладкими речами и быстро сумел задобрить Саиди.

— Вы же знаете, мы с Хайдаром-хаджи начали вместе дело. Оно идет неплохо. Но вот чего вы не знаете: мы не на равных паях компаньоны. Я получаю только четвертую часть.

— Почему же? Разве основной капитал весь принадлежит хаджи? Или он один добывает товар?

— Нет, капитал у нас общий. И товар добываем сообща. Мы связаны со многими кооперативами. Но дело вот в чем. Вы сами понимаете: в наше время каждый день могут возникнуть трудности. Если я столкнусь с этими трудностями, мне не сдобровать — попадусь тотчас. А хаджи — ловкач. У него большие знакомства среди чиновников. Если на нас начислят большой налог, хаджи сумеет уменьшить его наполовину, если не совсем избавиться. Конечно, для этого нужны деньги. У Мирзы Мухитдина скоро и площадка для собаки будет из золота — вот уж кто тянет взятку за взяткой, как мозг из косточки. В каждый свой приезд обязательно навестит хаджи, не уедет без взятки. Осенью приехал — вести следствие по делу двух видных басмачей. Все ждали, что их приговорят к расстрелу. А они — люди богатые и откупились от смерти золотом. Обоим дали по семь лет. Но я слышал, что один из них уже на свободе. Ах, надо было вам учиться на следователя!

— Разве Мирза Мухитдин появляется в ваших краях? — спросил Саиди

— Да, иногда приезжает.

— А Мухтархан какое имеет отношение к Хайдару-хаджи? У него ведь свои дела. Откуда же он знает хаджи?

— Нет такого человека, кто бы не знал хаджи. Кто только у него ни бывает... и из Кашгара, и из Оренбурга, и из того города, который называется Казань. И куда бы он сам ни приехал — везде его знают и уважают.

— Ну, а Мухтархан — он учительствует или у него другие дела?

— Наверно, есть и другие дела.

Мухаммедраджаб замолчал, и видно было, что он не

хотел распространяться на эту тему. Но Саиди готов был опять обидеться, и Мухаммедраджаб вынужден был продолжать:

— В прошлом году хаджи послал меня в Узген. Мы поехали на четырех конях. Остановились в доме у одного человека. Вечером явился Мухтархан, я узнал, что он там уже две недели. Пришел бледный и растерянный, словно человек, у которого описали имущество, со мной даже не поздоровался, пошептался с хозяином и ушел. После его ухода хозяин наш тоже разволновался, расстроился еще хуже него. Ну, вы сами понимаете, в каком положении оказывается гость, если хозяин чем-то озабочен. И вот я еще до вечерней молитвы попросил, чтобы мне постелили постель, и сказав, что я нездоров, улегся. Хозяин ушел и вернулся, после вечерней молитвы, вместе с Мухтарханом. Я лежал, укрывшись одеялом, и притворился спящим. Они долго шептались, и Мухтархан в полночь опять ушел.

— Но что же там делал Мухтархан? спросил с удивлением Саиди.

— Утром, когда я умывался перед намазом, пришел какой-то человек, по виду русский. Хозяин ему сказал несколько слов — не знаю уж, о чем, — и этот человек прямо-таки остолбенел, не мог пошевелиться. Я делаю вид, что ничего не замечаю, а сам слежу внимательно. И вот скажу вам: я видел человека, приговоренного к расстрелу, который своими ногами шел к своей смерти, но вид у него был не так ужасен, как у нашего хозяина в тот час. Ноги его уже не держали, он так и упал на колени. Русский ушел, не промолвив ни слова. Сели завтракать. Ей-богу, даже интересно смотреть на человека, когда он так трясется от страха: откусил кусок лепешки, валяет его во рту, а проглотить не может...

— Почему же вы его не спросили, что случилось?

— Он старался изо всех сил делать вид, что ничего не случилось. Ну, раз это тайна, я не стал спрашивать. После завтрака пришел Мухтархан и увел хозяина. А в полдень по всему городу прошел слух, что убит курбаши Самандар. Этот курбаши два дня назад помирился с Советской властью и явился в город. А потом я узнал: если бы курбаши остался жив, Мухтархан пропал бы.

— Почему?

— Мухтархан доставлял оружие курбаши Самандару.

— Откуда вы это узнали?

— Как-то Мухтархан попросил меня помочь ему, иначе он бы погиб...

Саиди поинтересовался, что же это было за дело, но Мухаммедраджаб перевел разговор на другое:

— Я очень встревожился, узнав об истории с Мавлянкуловым. Поговорил с хаджи, а он сказал, чтобы я не беспокоился, что он предупредит Мухтархана. Потом я узнал, что Мухтархан с Мирзой Мухитдином старые друзья. Конечно, Мирза Мухитдин отчасти уважил вас, а с другой стороны — за добро надо платить добром...

Таким образом Саиди узнал, что Мирза Мухитдин действовал совсем не бескорыстно. Однако его симпатия к Мирзе Мухитдину ничуть не уменьшилась.

В ту ночь Саиди долго разговаривал с Мухаммедраджабом, выпрашивал его о многом. Он хотел для себя распутать клубок до конца.

Мальчишка, выигравший в ашички полный карман орехов, и человек, вернувшийся с похорон своего заклятого врага, — каждый по-своему довольны и счастливы, но настроение того и другого нельзя даже сравнить с тем, что чувствовал сейчас Саиди. Голос Мухаммедраджаба, рассказывавшего ему подробности, которых он не знал, был ему приятен — как смех юной девушки, как первые слова ребенка. Каждое маленькое происшествие, каждое событие, каждое сказанное слово связывались теперь в уме Саиди с тем, что он уже знал, одной крепкой и надежной нитью.

IV

«Умный человек ничему не удивляется» — эта мысль пришла из древних времен, жива поныне и будет всегда казаться мудростью.

Уже выпал снег. А ишан, сидя дома, глубокомысленно предсказывает снегопад. И, если бы между этими двумя событиями не случилось третье, — если бы кошка, мокрая и замерзшая, не заглянула в это время со двора, иные умники удивились бы прозорливости ишана, как доверчивые мюриды.

Великое множество происшествий случилось вокруг Саиди, и каждое из них могло поставить в тупик кого угодно.

Якубджан, который за деньги готов пойти, что называется, в огонь и воду, который за упавший в сандал рубль так избил жену, что она оглохла, вдруг объявил себя бескорыстно преданным делу культуры и бесплатно учил грамоте рабочих типографии. Мурадходжа-домла, который говорил, что «люди в кишлаке такие скоты, что у него

нет сил смотреть на них», стал ездить к этим «скотам» читать лекции. Подобные вещи случались и с другими, и все это было неспроста.

После разговора с Мухаммедраджабом Саиди замечал все это и задумывался. Он понимал, что между многими этими событиями существовала связь, и пытался объяснить ее себе. Почему Аббасхан соединил Мухаммедраджаба с Хайдаром-хаджи? Почему Мунисхон, это чудо природы, девушка, чистая, как сок граната, красавица и умница, согласилась стать женою Мухтархана, человека с глазами ящерицы, которого природа на смех людям слепила из глины?.. Сначала Саиди думал, что Мухтархан богат, но потом узнал, что это были пустые разговоры.

Все, что рассказал Мухаммедраджаб и о чем догадывался сам Саиди, привело его к мысли, что существует какой-то большой и сложный механизм, который управляет всеми этими событиями и людьми, а все они — только части этого механизма. Хорошо бы знать, как они составлены, увидеть в действии весь механизм. Саиди верил, что он тоже может оказаться винтиком этой машины, и ему не терпелось узнать, насколько важный он винтик.

Среда, в которой жил и вращался Саиди, то закрывала его глаза черной завесой, не пропускавшей света, то заставляла видеть все сквозь кривое стекло. Но бывали моменты, когда завеса спадала, стекло лопалось, и становилось ясным, что не все то, что он считал действительностью, было правдой. Старая рана, за последние пять лет почти забытая, снова заныла и с большей силой, чем раньше. Но Саиди был теперь уже другим. От прежней его волевой направленности не осталось и следа. Он был ослаблен и размягчен, часто смотрел на мир глазами Муррадходжи-домлы, слышал его ушами. «Кто как живет, так и думает». Жизнь в доме домлы сделала его безвольным, облегчила задачу тем, кто хотел влиять на него. Правда, противоречие между внешним благополучием и внутренней неудовлетворенностью все обострялось в Саиди. А такое противоречие часто доводит человека до петли. Но у Саиди еще оставалась надежда на будущее, он верил, что его друзья — истинные вожди народа, что впереди — великие перемены. И это удерживало его от отчаяния.

Конечно же, должен был существовать и действовать какой-то механизм,— ведь под угрозой было все национальное, начиная от старой плетеной корзины и кончая тем дворцом, который он мечтал построить в долине.

Механизм такой существует, Саиди чувствовал это, и кто-то должен расставить всех по местам и показать Саиди и его друзьям их место и назначение. Но ужас в том, что пока никто ничего не делал. А когда Саиди пытался заговорить с кем-нибудь об этом, собеседники либо молчали, либо пожимали плечами и сворачивали разговор на другое. Вот только Якубджан дал понять: «Наш гап может стать таким механизмом». Эти слова взволновали Саиди. Почему же в таком случае не постараться расширить «наш гап», не объединить в нем Мухтархана, Хайдара-хаджи и других единомышленников. Но Якубджан сказал, что привлекать таких известных людей рискованно, ибо позиция их неясна, а они не терпят возражений. Разумные и опытные люди советовали расширять гап за счет молодежи.

Саиди согласился с этим. Он не пытался уже обнаружить «большой механизм» и искать связи между людьми и событиями. Все силы он хотел теперь отдать тому, чтобы укрепить и возвысить свой гап.

Как астроном изучает звездное небо, так Саиди внимательно приглядывается к каждому, кто только заикнется о необходимости «организации». А уверовав, что это не обмолвка, а искреннее желание, начинает улещивать единомышленника так, как женщина, только что оставившая любовника, ластится к мужу, спрашивая его выпить чаю. И так же, как стрелка компаса, сколько его ни крути, дрожит и указывает всегда только одно направление, так и Саиди, что бы с ним ни было, стремился только к одному: «Надо расширять, надо увеличивать организацию!» Он торопился, как спешит и торопится ребенок, едва начавший ходить и делающий неверными шатками ножонками первые шаги, грозящие ему по меньшей мере падением.

Аббасхан, Салимхан и другие видели это. И предостерегали Саиди, но слова их звучали фальшиво, как увещевание доброжелательных недоброжелателей. Ведь если мать говорит со смехом своему юноше-сыну: «ты у меня хороший, только уж слишком заглядываешься на девушек», — то паренек, хоть и застесняется, но ему приятно это слышать, и уж, конечно, если до того он не смотрел на девушек, то теперь и вправду не даст им проходу... Пьянице, о котором говорят, что он пьет и не пьянеет, тоже приятно это слышать. Потому что в этом, как и в словах матери сыну, — одновременно и упрек и одобрение. А когда к любой критике примешивается доля восхищения, человек воспринимает только эту приятную для него часть.

В упреках Аббасхана, Салимхана и других Саиди слышал одобрение, и они знали силу этого одобрения.

Скоро Саиди перешел все границы осторожности, разругался с Якубджаном, даже назвал его продажным, а других участников гапа людьми с «заячьими душами»: «Вы — как зайцы, услышите любой шорох, так душа у вас в пятки уходит». На очередном собрании он потребовал, чтобы было принято его предложение — распространение в городе листовок. Собрание не приняло этого предложения, но и не отклонило, поговорили и разошлись раньше обычного. Якубджан злился, Саиди же чувствовал себя вождем.

Через неделю Мурадходжа-домла вечером пришел к Саиди в комнату и, усевшись на диван, сказал, усмехаясь:

— Есть жалоба на вас.

Саиди покраснел, взял со стола папиросу и закурил, смущенно улыбаясь. Прошлой ночью, когда Сорахон пришла к нему, он насильно удержал ее у себя дольше обычного и теперь, думая, что домла хочет говорить об этом, поспешил сам начать неприятный разговор...

— Вчера ночью я...

— Поспешность может все погубить, — перебил его домла.

— Но, домла, ведь я же...

— Погодите, послушайте... Позвольте уж мне сказать. Зачем вам понадобилось предлагать эти листовки? Какая польза от них? Подумайте-ка...

Саиди испугался.

— Своим необдуманном поступком вы только зря взбудоражили людей, которые собрались отдохнуть вместе раз в неделю, — продолжал домла. — Вы в этом гапе участвуете уже некоторое время, а мне не говорили, да, я надеюсь, и никому другому тоже — это хорошо. Так и нужно. Ведь это дело такое — как стекло, разобьется — не склеишь. Я это знаю... у меня есть опыт...

Саиди ожил:

— Вы знали, что я участвую в гапе?

— Знал, конечно. Это дело только начинается, а вам, наверное, казалось, что именно вы — всему голова... Иначе вы бы так не спешили...

— Нет, домла, не так. Я, конечно, понимал, что движение это существует, но оно пока еще разобщено, разрознено. Нет единого центра, который бы его объединил.

— А почему вы думаете, что нет такого центра?

— Если он есть, так пусть он руководит нами.

Домла засмеялся.

— А если он уже руководит?

Саиди так жадно спрашивал, что домла поневоле открыл ему то, чего и не должен был говорить.

В тот злополучный вечер, когда на гапе из-за предложений Саиди о листовках произошло некоторое смятение, Якубджан пришел прямо к домле и рассказал ему все. Хотя домла имел право многие вопросы разрешать сам, на этот раз он не хотел брать на себя ответственность и устроил внеочередную встречу членов комитета. Он считал, что Саиди заслуживал того, чтобы ввести его в круг более осведомленных участников движения и открыть ему некоторые секреты и планы. Но другие члены комитета не хотели делать исключения для Саиди, считая его недостаточно сдержанным, слишком поспешным и даже опасным участником гапа. В конце концов решили так: хорошо, можно Саиди кое о чем информировать. Пусть он знает, что существует руководящий центр движения — центральный комитет и областной комитет, но имен членов этих комитетов ему не открывать. Пусть он перестанет заботиться об «объединении разрозненного движения», успокоится и почувствует, как велика его ответственность за общее дело.

Мурадходжа-домла передал все это Саиди и добавил еще, что Якубджан, организовавший гап, в котором участвовал Саиди, — представитель областного комитета; и что существует уже несколько таких гапов. Он мог бы еще открыть Саиди, что сам он и есть председатель областного комитета, рассказать о поддержке басмачей и о связях с иностранным государством и о многих других тайных действиях комитета, но, несмотря на все просьбы Саиди, поднялся и уходя повторил несколько раз, что нужно подчиняться во всем Якубджану и никому не обмолвиться о сегодняшнем разговоре.

Саиди вздохнул с облегчением, как будто наконец решил трудную задачу. Разделся, улегся в постель и принялся мечтать: то он организывает новые гапы, руководит ими; то вдруг становится красноречивым оратором; то делается знатоком военного дела и создает новые отряды басмачей; то изобретает с помощью зеркал и каких-то еще элементов сжигающий луч, посредством которого уничтожает целые города; то, одетый в сталь, один идет против бронированных машин и танков... И где-то в далекой дали мерещился дворец, который он хотел построить в долине...

Мурадходжа-домла тоже долго не мог уснуть в эту ночь. Он все-таки кое-что открыл Саиди, о чем не следовало еще ему говорить. Хорошо это или плохо? Домла думал-думал и, наконец, решил, что хорошо, что пора уже Саиди знать и другие тайны. В самом деле, почему домла должен все от него скрывать? Ведь если члены комитета говорят, что «для Саиди не надо делать исключения», то лишь потому, что они его не знают, он для них ничем не отличается от сотен других людей. Но для домлы? Для домлы Саиди — будущий зять! Говорят, что Саиди несдержан на язык, горяч, тороплив — и тем опасен, но ведь, узнав многое, он больше оцутит свою ответственность, станет спокойнее и выдержаннее.

И действительно, Саиди в последние дни стал как-то спокойнее и, вместо всяких прежних проектов, считал теперь более полезным для дела высмеять в газете какого-нибудь ответственного советского работника, работающего не за страх, а за совесть, или сжечь заметку рабкора, свидетельствующую об успехах правительственных мероприятий.

Домла заходил к нему часто, в каждое его посещение Саиди старался выведать у него что-либо новое об организации, и порой это ему удавалось. О чем бы ни заходила речь — о затмении луны или о том, что корова стала меньше давать молока, — разговор всегда сводился к делам организации.

Прошло немного времени, и Саиди уже знал, что Мурадходжа-домла является председателем областного комитета, и еще множество всяких деталей, которые позволили ему «расставить все по местам» и увидеть в действии «большой механизм».

В одну из пятниц, когда Саиди и Мурадходжа-домла мирно выпивали и беседовали, пришел Якубджан. Сядя рядом с Саиди, он хихикнул и сказал ему: «Вы — курица». Якубджан вообще любил поразить собеседника каким-то неожиданным, часто неприятным словом — и не спешил объяснить это. Это знали все и Саиди тоже.

— Домла, вы сообщили этому почтенному человеку новость? — спросил Якубджан, принимая из рук Саиди пиалу с вином.

— Нет, я ничего не говорил. Вы сами должны ему сказать. Не вмешивайте в это меня, не нарушайте правил.

Саиди ничего не понял, посмотрел сначала на домлу, потом на Якубджана. Никто не стал ему ничего объяснять. Постепенно он понял, о чем шла речь.

Курицы выводят цыплят и воспитывают их, пока цыплята не станут сами добывать себе корм и не научатся улетать от опасности. Когда же они достигнут самостоятельности, курица оставляет их, считая: «Теперь живите и кормитесь сами и выводите новых цыплят». Вот такой «наседкой» и был Якубджан — он растил и воспитывал «цыплят», пока они не становились «курами» — об этом и было сказано Саиди. Но домла был неудовлетворен таким объяснением Якубджана и добавил от себя следующее: на очередном собрании гапа Якубджан скажет о необходимости расширить группу, ввести новых людей, и Саиди должен будет взять на себя организацию нового гапа с привлечением новых членов.

Слушая домлу, Саиди задумался. Раньше, когда он думал о «необходимости организовать» людей, ему представлялось, что люди только и ждут его призыва. Но сейчас, когда на него возлагали конкретную задачу, он мысленно искал этих людей и не находил ни одного. Раньше ему казалось, что вокруг он слышит вопли о помощи, теперь он их не слышал больше; раньше он думал, что мир наполнен такими людьми, как Махмуджан-эффенди, теперь он видел, что его окружали такие, как Кенджа, Теша, а у них Саиди не надеялся найти сочувствие. Мысленно он перебрал всех работников своей газеты. Нет, там тоже не было у него единомышленников. Он вспомнил своих университетских товарищей, но эти воспоминания только нагнали на него страх.

И все-таки он принял задание и на очередном собрании гапа, когда Якубджан объявил об этом, Саиди, как попугай, повторил то, что подсказано было ему домлой и Якубджаном.

V

Если бы разбойник темной ночью преградил путь Мурадходже-домле и спросил: «Кошелек или жизнь?» — домла, конечно же, выбрал бы кошелек, живой он не мог с ним расстаться. Но если бы его спросили: «Кошелек или Саиди?» — то он, не раздумывая, ответил бы: «Саиди!» — потому что для него легче было потерять содержимое одного кошелька, чем неиссякаемый источник его наполнения.

Любой вопрос Саиди, оставленный без ответа, малейшая неприятность, доставленная ему в этом доме, могут обойтись домле слишком дорого, ни с каким кошельком не сравнишь. Вот почему Саиди за короткое время узнал от домлы почти все об организации, ее построении

и методах ее работы. Цель организации — поднять вместо красного знамени национальное зеленое знамя. Под сенью этого зеленого знамени изменится вся жизнь, человеку, открывшему свою кузницу с механическим молотом, не придется повеситься, как отцу Саиди. Можно будет построить и дворец в долине с невольницами, рабынями и прочим.

И Саиди принялся за дело. Задача была: подобрать нужных людей и организовать свой гап. Ночью Саиди все хорошо обдумал — к кому пойти, как начать разговор, но к рассвету его уже одолевали сомнения, а когда днем собирался отправиться к тому человеку, чувствовал себя уже совершенно беспомощным.

Так было, например, когда он собрался пойти к секретарю комсомольской ячейки типографии Пулатову.

Пулатов появился в типографии недавно. Саиди увидел его, когда, как Якубджан, хотел научиться сам набирать и пришел в типографию. Однажды Саиди рассыпал свой набор и не знал, как разложить рассыпавшиеся литеры по их гнездам. Тогда к нему подошел Пулатов и очень быстро разложил рассыпавшиеся буквы по местам. Тут они и познакомились.

Узнав, что Саиди — комсомолец, Пулатов несколько раз предлагал ему: «Становитесь на учет в нашу ячейку». Саиди же, не желая, чтоб узнали, что он выбыл из комсомола, отговаривался, что университетская ячейка не снимает его с учета. Пулатов уважал Саиди, как ответственного секретаря редакции, писателя, высокообразованного человека, да к тому же выходца из крестьянской среды. Саиди бывал у него дома, но до сих пор не пробовал, как говорит Мурадходжа-домла, «запустить руку к нему в душу».

На этот раз, заглянув к Пулатову, он встретил у него старого знакомого. В комнате сидел Юлчибай, тот батрак, которого он видел когда-то в кишлаке во время подготовки к проведению земельной реформы, тот самый, кто говорил, что «можно стереть со лба предназначенную ему судьбу батрака и вместо этого написать двадцать танопов земли». Юлчибай был одет в хороший стеганый халат из бекасама, на голове чувская тубетейка, подпоясан шелковым платком, на ногах любимые кишлачными парнями сапоги с высокими каблуками. Саиди тотчас узнал его, но не мог поверить своим глазам. Юлчибай встал и обнял Саиди. Потом с Саиди поздоровался и племянник Юлчибая, паренек лет двадцати, одетый чуть похуже.

— Откуда вы знаете товарища Саиди? — спросил Юлчибая Пулатов.

— А мы с ним старые друзья. Во время земельной реформы он прожил в нашем кишлаке почти месяц. Вот так, та-ак, товарищ Саиди... Как я мечтал хоть бы разок вас увидеть!.. Город, оказывается, такой большой, что трудно здесь найти человека... Я недавно услышал, что вы работаете в газете, и думал уж, что придется обойти все редакции... Ну, как вы живете, здоровы ли, какое у вас настроение?..

Юлчибай познакомился с Пулатовым, когда оба они учились на курсах секретарей. Пулатов в то время работал наборщиком в типографии, которая находилась в нижнем этаже здания, где помещались курсы. После занятий Юлчибай часто заходил к Пулатову и своей жизнерадостностью, веселыми шутками полюбился ему. Тут же на ходу расспрашивал его обо всем, чего не понял на занятиях, и Пулатов, каким бы ни был усталым, не ленился объяснить Юлчибаю все, что знал сам. Пулатов так к нему привык, что если Юлчибая долго не было, он сам шел в класс и просиживал там до конца занятий. Однажды Юлчибай пришел к наборщикам с книгой, которая называлась «Как появился на земле человек», и стал возмущаться: «Зачем нам эта книга? Нам не нужно знать, как появился человек, нам важнее узнать, каким образом одни стали богатыми, другие бедными — вот о чем нужно набирать и выпускать книги». Пулатов от души смеялся над ним, а назавтра отыскал такую книгу и дал Юлчибаю. История эта долго была предметом обсуждения среди наборщиков, и у Юлчибая появилось много друзей. С тех пор Юлчибай особенно подружился с Пулатовым. Когда Пулатов переехал в город, Юлчибай, бывая там по делам, всегда навещал Пулатова.

Саиди с интересом выслушал рассказ Юлчибая о том, как он учился и как теперь работает секретарем сельсовета, а потом спросил его племянника:

— А вы учитесь здесь?

Парень не услышал. Саиди повторил вопрос, но Юлчибай объяснил:

— Он не слышит, глух на левое ухо.

Дядя тронул племянника за колено, дал ему понять, что с ним разговаривают, и парень подставил правое ухо.

— Что у вас с ухом? — спросил Саиди.

За парня ответил Юлчибай:

— Это отец его так избил.

— Какая дикость! — воскликнул Саиди и посмотрел на Пулатова. — Чем же вы так провинились?

Парень усмехнулся:

— Я даже не понял... Мы с одним парнем — Кимсан его зовут — пасли скот на целине. Подошли двое с винтовками, спросили: «Есть у вас в кишлаке красноармейцы?» Кимсан сказал: «Нет», а я сказал: «Есть». Я правду сказал. Кимсана стукнули раз-другой камчой и ушли. Кимсан разозлился, пошел к моему отцу и сказал: «Ваш сын за басмачей». Тогда отец мне сказал: «Зачем ты сказал, что у нас красноармейцы? Если бы ты сказал, что их нет, басмачи пришли бы прямо сюда, и их поймали бы...» И стал меня бить. Пришел мой старший брат, я думал — он за меня заступится, а он и сам меня ударил два раза. С тех пор я и оглох... Лечился целый месяц, но ничего не помогло.

Зашел разговор о басмачестве. Саиди, прикидываясь простачком, расспрашивал о басмачах, и в тоне его проskalзывали даже нотки сочувствия к «тем, кто вступил на ложный путь».

Пулатов хотел возразить, но Юлчибай опередил его:

— Если батрак говорит: «Это хорошо», хозяин скажет: «Это плохо». Если же батрак скажет: «Это плохо», хозяин непременно закричит во весь голос: «Это хорошо!» Батрак попробует возражать — хозяин вытаскивает нож, поднимает на него топор. Я сам это видел — своими глазами. Помните: Ибрагим Рахматуллаев сказал, что земельная реформа — это хорошо, а хозяин был несогласен. И Ибрагим по воле Ниязмата-хаджи исчез в одну ночь... Сейчас батраки и бедняки везде восстают против хозяев, теперь уж они не благодарят, как раньше, за подзатыльники, как за учебу. А раз так, то хозяева вынимают ножи и размахивают топорами. Басмачество — это топор, занесенный над нами...

После такого ответа уже не было смысла Саиди продолжать разговор. Он взглянул на часы, попрощался и ушел.

Никто ему не возражал в этой дружеской беседе, но, покинув этот дом, Саиди чувствовал себя таким усталым, как после долгого напряженного спора.

VI

— Вы — жук,— сказал Якубджан, когда они остались одни в редакции.

Саиди посмотрел на него, ожидая разъяснений. Якубджан, перебирая бумаги, проворчал:

— Что же вы не спросите: какой жук?

— Хорошо: какой я жук?

Якубджан оглянулся и таинственно зашептал:

— Вы — навозный жук... Он пытается ухватить комок навоза и проташить его в свое гнездо, но захватывает такой большой ком, что он не пролезает в его дыру, только забивает ее. Такой жук трудится, старается, но в конце концов сам себя замуровывает...

Саиди задумался.

— Ну, что, каков эффект от моих слов? — спросил Якубджан, подходя к нему.

— Если бы мне пришлось перекачивать навозный ком, я в первую очередь ухватил бы вас, — отвечал Саиди насмешливо.

Он понял намек Якубджана, желание его оскорбить и не мог не ответить тем же.

Саиди изо всех сил старался организовать новый гап, пробовал прощупать несколько молодых людей, но ничего не мог добиться, более того, всякий раз создавалось такое опасное положение, что невозможно было предпринимать что-то дальше, и под конец он начал уже бояться заговаривать с кем-нибудь о деле. На эти его бесплодные усилия и намекал теперь Якубджан.

Саиди попытался оправдаться:

— На моем месте и вы ничего бы не смогли сделать.

— Я уже был на вашем месте, однако дело сделал и не оказался замурованным.

— Что же вы сделали?

— Организовал гап.

— Это так, но людей-то вам подбирать не пришлось!

— А вы? А Закирхан?

— Это меня-то вы считаете своей находкой? Ну, нет! Меня привело на этот путь вовсе не ваше организационное умение, а мое прошлое, смерть отца, мои собственные раздумья... И Закирхан, конечно, сам до этого додумался, и другие тоже. Ну-ка, еще раз прикиньте, честно, кто из девяти членов нашего гапа вступил в него благодаря вам? Нет, таких, как мы все, собрать было просто. Мы бы и без вас объединились. А вы попробуйте привлечь Кенджу, Пулатова, — вот тогда я буду вами восхищаться.

— Вы же тоже были комсомольцем!

— Да, я тоже был комсомольцем. Но меня оторвать от комсомола было легко. Я оказался в нем случайно. И уйдя стал только вновь самим собой.

— Так почему же вы не ищете таких же случайных?..

Якубджан повернулся и пошел на свое место. Саиди остался сидеть за столом, глядел в окно и думал. Довольно долго оба молчали. Саиди решил уже что-то сказать, чтоб разрядить обстановку, но не успел: открылась дверь, и вошел учитель Салахиддин-домла. Якубджан первый с ним поздоровался, Саиди же не успел еще встать, как Салахиддин подошел к нему сам с протянутой рукой, приветствуя. Пока он вежливо расспрашивал о здоровье, в памяти у Саиди зазвучали слова, когда-то сказанные Салахиддином на собрании городской интеллигенции, где обсуждалась земельная реформа.

С тех пор Салахиддин заметно постарел. Борода его стала совершенно седой, на худой шее резко обозначились жилы. Он тяжело опустился на стул, достал из кармана все той же старой куртки с отложным воротником носовой платок и вытер им глаза и лоб.

— Здоровы ли? Как дела? Как школа? — спрашивал Саиди, хотя уже все знал заранее.

И Салахиддин в ответ только горько усмехнулся.

Вот уже год, как он был без работы. Об этом постарался заведующий отделом народного образования Салимхан: в одном из своих докладов он совершенно уничтожил старого учителя. Вот неполный перечень того, что вменялось Салахиддину в вину: в школе, где он преподавал, в стенгазете были опубликованы стихи с националистическим душком; какой-то школьник разбил камнем скульптурный бюст одного из государственных деятелей; другой мальчик записал в своем дневнике: «Когда я вырасту, стану революционером и свергну...», а когда его спросили, что значит это многозначие, он ответил: «Советскую власть». Это были подлинные факты, Салимхан ничего не выдумал и не преувеличил — все это сообщил ему пионервожатый школы.

Никто из учителей, воспитателей не внушал ученикам таких мыслей, никто не толкал их на такие поступки. И школьники — ни разбивший камнем бюст руководителя, ни тот, кто хотел «вырасти революционером и свергнуть...» — не могли сказать, что их научил этому кто-то из преподавателей.

Кто же был виноват? Призывая к классовой бдительности, Салимхан тщательно проанализировал все происшедшее в школе и пришел к такому выводу: виноват не тот учитель, который бывает в школе только на уроках, не задерживаясь ни на минуту позже, как, например,

Махмуджан-эффенди, а тот, кто все время проводит в школе и в общежитии, кто постоянно бывает с детьми — Салахиддин. Конечно, нельзя не винить также и заведующего школой и других учителей, которые формально относятся к делу воспитания, но главная вина, конечно, лежит на Салахиддине. На его голову и должна была обрушиться кара.

И, действительно, все обрушилось на голову Салахиддина. Ученики, которые пытались защищать его на общем собрании и говорили, что «Салахиддин-домла хороший», были взяты под подозрение, как зараженные его дурным влиянием, и Махмуджану-эффенди было поручено следить за ними. Это поручение, кстати, доставило Махмуджану-эффенди большое удовольствие.

Салахиддин был изгнан из школы. Через несколько месяцев умерла его юная дочь. Учитель потерял своих учеников, отец потерял любимую дочь. Салахиддин тяжело переживал эти беды. От любимых учеников у него осталось несколько тетрадок, от любимой дочери — карта СССР, вышитая цветными шелками на красном сатине.

Тетради, карта! Глядя на них, Салахиддин не мог удержаться от слез, и они падали на его седую бороду.

— Товарищ Саиди, — сказал Якубджан, — домла, наверное, совсем измучился. Мы решили ему помочь. Я вчера говорил с заведующим редакцией. Он сказал, что нам нужен кассир. Может быть, домла согласится... хоть временно. Что вы скажете, домла?

Салахиддин молчал.

— Что ж, это было бы хорошо! — сказал Саиди, но, спохватившись, вздохнул: — Конечно, трудно человеку... тридцать пять лет был учителем...

— Старый интеллигент, — сказал Якубджан. — Как волка ни корми, а он все в лес глядит...

Салахиддин понял, что хотел сказать Якубджан.

— Воспитание — сложная проблема, — сказал он. — Воспитывать в коммунистическом духе — дело великое и новое. Человек создал машины, каждая из них дает разный коэффициент полезного действия. Так и люди. Каждый человек одарен по-разному и по-разному может приносить пользу обществу. И так же, как наука, старается совершенствовать машины, чтобы увеличить их коэффициент полезного действия, так воспитание стремится улучшать человека, чтобы он лучше мог служить обществу. Человек, воспитанный в коммунистическом духе, не будет тратить свою жизнь и свои силы попусту.

Но человек, который хочет воспитывать других в коммунистическом духе, сам должен быть воспитан, как коммунист. А я? Большую часть своей жизни я прожил в обществе, которое только калечило людей, поэтому, как бы я ни старался, ошибки в моей работе неминуемы. Но, правду сказать, я никак не могу понять, в чем же я ошибался, виноват ли я в том, что случилось в школе, или кто-то другой? Но раз уж сказано, что моя работа в школе приносит вред, то я считаю своим долгом отойти от педагогического дела.

Якубджан усмехнулся слегка.

— С лошади сошли, а из стремени не вылезли — так, что ли, домла?

— Я вас не понимаю, братец, — сказал учитель.

— Да нет, я просто так... Зря вы оправдываетесь...

Салахиддин, подумав, ответил:

— Если бы все было так, как вы думаете, это было бы с моей стороны предательством. Но это не так. Я встал под красное знамя не только потому, что оно победило. Это знамя указывает нам путь к счастью всего человечества. Это путь правды, и я в эту правду верю. Ради этой правды я и хожу на земле.

Саиди сказал иронический, как бы про себя:

— Однако есть интеллигенты не глупее вас, которые не видят этой вашей правды.

— А инженеры — это тоже интеллигенция? — спросил Якубджан, глядя на Саиди.

Салахиддин догадался, что он хотел сказать, но, конечно, не понял, зачем они затеяли этот разговор.

— Вы, вероятно, хотите сказать о шахтинском деле? — сказал Салахиддин. — Конечно, тут действовали умные и образованные интеллигенты. Но ведь все зависит от того, какими глазами смотрит человек на мир. И что ему выгодно. Когда была открыта Америка, миссионеры, стараясь распространить христианство среди диких племен, объясняли божьей волей все явления природы и даже затмение луны. Разве они не знали, отчего бывает затмение? Наверное, знали, но хотели воспользоваться невежеством народа. Шахтинское дело — это частный случай, проявление тех враждебных революции сил, которые пытаются оказать сопротивление нашей правде. Но чем сильнее это сопротивление, тем крепче сила правды в сердцах людей.

В планы Якубджана не входил этот разговор с Салахиддином, но как-то так вышло, что все это было сказано.

Саиди хотел продолжить разговор, вынудить Салахиддина пожаловаться на несправедливость, которую допускает и Советская власть. Но Якубджан, прервав его, поинтересовался, согласен ли Салахиддин поступить в редакцию кассиром.

— Если вы считаете, что я годен для этого, я, конечно, не откажусь,— сказал Салахиддин.— Хоть чем-нибудь быть полезным людям...

Он попрощался и ушел, усиленно вытирая платком глаза.

— Вот этого я возьму в свои руки,— сказал Якубджан, подходя к Саиди.— А вы — жук...

VII

В семье, возникшей на основе подлинной любви, тепло, и свет этой любви все крепче связывает, все больше сближает любящих. В семье, созданной по принуждению, царит холод, рождающий только ложь и неискренность в отношениях мужа и жены. Семья Мунисхон и Мухтархана была именно такой семьей. И оттого, что ложь все чаще обнаруживалась в их отношениях, Мунисхон страшно мучилась.

До свадьбы Мунисхон утешалась тем, что, во-первых, по уверению Салимхана, надеялась привыкнуть к мужу, найти в нем не только темные, но и какие-то добрые, светлые грани, а во-вторых, верила в богатство Мухтархана. Но ни того, ни другого на деле не оказалось, Мухтархан все так же противен ей. Когда он целует, то издаст звук, словно цокает ящерица, когда он обнимает ее, он похож на медведя, который лезет в улей за медом, не обращая внимания на разъяренных пчел...

И все же, встречаясь с Саиди, Мунисхон старалась казаться довольной своим замужеством. Но она мучилась, и красота ее стала блекнуть, словно в каждом вынужденном объятии мужа она теряла частицу своей молодости и чистоты.

И только в самом потайном уголке ее души тлела искра надежды: когда-нибудь все изменится, Саиди упадет перед ней на колени, будет плакать и молить: «До каких же пор мы будем мучить друг друга!» И тогда она пожалеет его, скажет: «Приди ко мне, наконец»,— и протянет к нему руки. Разумеется, к тому времени Саиди уже завоюет высокое положение и будет богат.

Мунисхон не сомневалась в том, что Саиди, достигнув славы и богатства, будет добиваться ее. Поэтому она не

придала значения слухам о женитьбе Саиди на Сорахон. И даже когда сам Саиди сказал ей об этом, она не хотела этому верить. Она смотрела на Саиди спокойно, как на канатоходца, который, если даже бросится вниз, не напугает ее, потому что она знает, что он крепко привязан и не может разбиться.

Но вот она узнала, что свадьба назначена на двадцать второе число этого месяца, что Мурадходжа-домла разослал своим друзьям приглашения, что все приготовления закончены — и свадьба состоится непременно. Мунисхон впервые призналась себе, что любит Саиди. Она горько плакала, закрыв лицо руками, металась по кровати, не в силах побороть душевную боль. Она хотела убить себя, потом, одумавшись, решила расстроить свадьбу, соблазнить и увести Саиди. Но она поняла, что легче ей убить себя, чем расстроить эту свадьбу. Тогда она сказала себе: «Саиди еще не был близок с женщиной, он хочет жениться на чистой девушке, зачем ему чьи-то объедки? Так пусть же он женится на этой девушке — тогда мы с ним будем квиты».

Однажды, возвращаясь с занятий, она почему-то оказалась на улице, где находилась редакция газеты. Ей захотелось войти, увидеть Саиди, и лишь шагнув через порог, она спросила себя: «Что же я скажу ему, когда его увижу?» Но она уже взялась за ручку двери и открыла ее.

Сидевший среди вороха бумаг Саиди, увидев Мунисхон, так растерялся, что долго не мог взять себя в руки. Наконец он предложил ей сесть. Мунисхон оглядела сидевших за своими столами сотрудников, дремавшего в уголке редактора и сказала деловым тоном:

— Товарищ Саиди, на нашем факультете организуется кружок корреспондентов... желающих много... не могли бы вы взять на себя руководство?

Говоря это, Мунисхон покраснела. Правда, она слышала, что существует некий «кружок корреспондентов», но не имела никакого представления, где этот кружок, как он работает, — просто сказала первое попавшееся на язык и не знала, как продолжить разговор.

Саиди же, хоть и был удивлен, что пришла именно она, поверил ей, вынул из ящика стола инструкцию и подал. Мунисхон положила инструкцию в свой маленький черный портфель и поднялась. Саиди тоже встал и пошел ее проводить. Мунисхон, почувствовав, что он идет за ней, ускорила шаги и вышла на улицу. Саиди догнал ее и взял за руку.

— Мунис...

Мунисхон остановилась.

— Что скажешь?

— Подожди...

— Я тороплюсь...

— Муж приехал?

Мунисхон не удержалась от гримасы. Никогда еще она не показывала Саиди своего враждебного отношения к Мухтархану. Саиди догадывался, что она не любит мужа, но огорчился, что она не говорит ему прямо об этом.

— Ты недовольна им?

— Нисколько, — сказала Мунисхон, глядя в глаза Саиди и краснея.

— Я не говорю о твоём сегодняшнем настроении... я слышал, что у тебя вообще нехорошо...

— Ничуть! Ничуть! Ни капельки! У меня прекрасный муж!

Мунисхон, все краснея, не могла удержать слез. Хотела повернуться и убежать, но Саиди ее удержал.

— Почему же ты плакала в свадебную ночь?

— Скоро, может быть, заплачешь и ты...

Боясь расплакаться горько, как в свадебную ночь, Мунисхон закрыла лицо руками, как будто ей стало смешно. Саиди задумался, глядя в землю.

— Ты виновата во всем, — сказал он, — это ты сделала так, что плакала сама и теперь заставишь меня плакать...

— Нет, и ты виноват тоже. Почему ты молчал? Почему ничего не сказал мне?

— Я молчал?! Но разве ты не помнишь, что ты сказала мне там, в саду, когда мы готовились к экзаменам? С таким страхом я начал тогда разговор, а ты мне сказала: «Все равно я за тебя не выйду!»

— Ничего подобного! Ты мне никогда не говорил...

— После таких слов я не осмеливался вновь говорить с тобой... Ты всегда смотрела на меня свысока и не позволяла приблизиться к себе.

— Ты тогда часто выпивал...

— Теперь я пью еще больше.

— А, может быть, я и сейчас смотрю на тебя свысока?.. Нет, ты никогда не признавался мне... Что же, мне самой надо было признаться тебе?..

— Пусть я не признавался, но ты ведь знала... и что бы случилось, если бы ты хоть немножко пошла мне навстречу, спустилась со своего пьедестала?..

— Нет, ты сам во всем виноват! Я была в твоих руках. Ты мог со мной сделать, что хотел...

Краска бросилась в лицо Саиди.

— Я люблю тебя все так же! Но моя любовь все еще нераспустившийся бутон...

— Теперь уже трудно что-то изменить...

— Да, трудно. Теперь, чтобы построить семью, надо разрушить две. Но если бы вся трудность была лишь в том, чтобы их разрушить... Даже если мы будем вдвоем, сколько на нас обрушится последствий разрыва! Мы перессорим Мухтархана, Салимхана, Мурадходжу-домлу, а это грозит тем, чего ты не знаешь, и о чем нельзя говорить... Но... только смерть нельзя предотвратить... Если ты хочешь... Последнее слово — за тобой!

— Ты не едешь в Москву? — перебила его Мунисхон. Саиди не ответил.

Мунисхон поняла, что она бессильна. До этой встречи она думала, что он — как тесто в ее руках: «Захочу — испеку лепешку, захочу — изжарю пончики». Но ничего не вышло. Она повернулась и тихо пошла от него прочь. Когда замолчавший Саиди поднял голову, собираясь что-то сказать, она была уже далеко.

VIII

Саиди не ожидал, что свадьба будет такой богатой. Наехало столько гостей — из Татарии и других республик, из многих среднеазиатских городов, навезли столько подарков, что, если бы продать хоть часть их, можно было бы на вырученные деньги справить несколько свадеб.

С рассвета по двору уже забегали, кудахча, как куры, женщины, за домом, в саду, засуетились мужчины. К завтраку в трех огромных тандырах, стоявших в ряд на дворе, были испечены лепешки всех сортов — сдобные, слоеные, посыпанные маком, кунжутными зернами, с примесью гороховой муки и аниса, и самса — огненные пирожки с мясом и луком, и все это в больших плетеных корзинах несли на мужскую и женскую половины дома.

Один из ближайших друзей домлы, знаменитый в городе кондитер, собственноручно сбивал в чулане нишалду — сладкую массу из белков, сахара и мыльного корня. Его окружали ребяташки, ловили вылетающую из котла пышную сладкую пену, облизывали руки, отталкивали друг друга, дрались.

Мурадходжа-домла сделал крупный заказ в одной из самых больших кондитерских города. Хитрый хозяин кондитерской утром прислал слугу сказать, что заказ не будет выполнен, если не возьмут и тот товар, что залежался в магазине. Пришлось согласиться на это условие, и потому кон-

дитерских изделий на свадьбе было даже больше, чем нужно.

Гости еще не кончили завтракать, а уж за домом у дувала из-под огромных чугунных котлов поднялся дым. Из подвалов в огромных тазах выносили приготовленное мясо. Возле хауза, под большой чинарой, на супе чистили и резали морковь, лук и другие овощи; здесь же лежали кульки со специями — черный и красный перец, тмин, зелень для приправы, чабрец, кориандр. Как только кончился завтрак, из кишлака явилась целая группа девушек и молодых женщин в нарядных платьях из хан-атласа и цветастого шелка, в шелковых косынках на головах, они со смехом и шутками обошли мужчин, возившихся у котлов, сидящих на супе, в саду, и прошли к беседке, откуда сейчас же раздались звуки бубна и песня.

Мурадходжа-домла — нарядный, в белой шелковой рубахе, подпоясанный желтым шнуром, в новой тюбетейке вышел из ичкари, прошелся своей утиной походкой около дома.

— Астана! — позвал он работника. — Кто это там в беседке? Гони всех прочь! Полей там, вынеси из ичкари ковер, одеяла принеси. Я приказал Турды принести шампуры — начинайте жарить шашлык.

Когда Астанкул доложил, что все готово, гости, приехавшие из дальних мест, гуськом направились к беседке. Среди них были Мухаммедраджаб и Саиди. Под руку с Саиди шел Мухтархан. Замыкал шествие Мурадходжа-домла с важным гостем из Татарии, тот втолковывал ему:

—...после смерти Чингизхана, когда род его и Хилакуна прекратился, на востоке образовались такие государства: Илойхония, Тимурово царство, Степных и Кипчаков — на севере, в Индии — Бабурия, в Анатолии — Османия, в Иране — София. Все они были построены на гнилых корнях старого ислама и теперь перестали существовать. А новое Туранское государство, которое мы, с помощью бога, хотим построить, будет основано на исламе, который мы реформируем...

Вслед за гостями прошли музыканты.

Возле беседки шипит и жарится шашлык. Голубой дымок подымается над ним, и ветерок разгоняет его по саду между деревьями.

Зазвенели рюмки и стаканы, задвигались челюсти. Музыканты, расположившись неподалеку на отдельной супе, настраивали инструменты и, сыграв что-то для начала, приготовились исполнять заказы гостей.

Джамал Каримн, которого Мурадходжа-домла назы-

вал «великим пьяницей», достиг предела своих желаний: у него ключ от большой кладовой, где хранятся несколько бочек пива и огромные запасы водки и вина различных сортов. С самого раннего утра он успел перепробовать множество вин, а для того, чтобы не опьянеть совсем, он всыпал в ведро горсть соды и время от времени запивал вино этой водой. Придя в себя, вновь начинал откупоривать бутылки, пробуя из каждой. К тому же, всякий раз, когда он приносил бутылки в беседку, Саиди любезно наливал ему рюмочку. Он успел уже выпить полведра воды с содой и все же опьянел настолько, что, сходя со ступенек беседки, не удержался и упал. Хорошо, что в это время подвыпивший музыкант так насмешил всех, что никто не заметил падения Джамала Карими.

Этот музыкант, игравший на гиджаке, вдруг вскочил, наступил на лежавший на супе дутар, раздавил его, споткнулся и заорал во все горло песню:

Мой меч укоротился,
От старости ступился —
Вай! Вай! Вай!

Хайдар-хаджи, самый солидный гость, хотел встать, покачнулся и попал ногой в блюдо с шашлыком, раздавил его и упал бы, если б не поддержал Мухтархан. Мухаммедраджаб сидел рядом с Саиди и все уговаривал спеть, расхваливая его голос.

Желая, чтобы к свадебному столу была подана закуска, как у «культурных людей», Мурадходжа-домла сделал заказ в ближайшем ресторане. Хозяин ресторана поступил так же, как и хозяин кондитерской: пришел в тот момент, когда все ждали закуски, и заявил, что ничего не подаст; если в придачу домла не возьмет и спиртного. Домле пришлось уступить и согласиться, так что спиртного оказалось вдвое больше, чем предполагалось.

Местные друзья домлы — Аббасхан, Мухтархан, Мирза Мухитдин, Салимхан, Ильхам, Якубджан — собрались в доме, в комнате для гостей, где сидели приезжие из дальних городов и краев. Другие же гости — редактор областной газеты, заведующий техникумом Закирхан, Салахиддин-домла, Мухаммедраджаб, все участники устроенного Якубджаном гапа, несколько учителей и сам Саиди остались в саду в беседке. Музыканты, певцы, асекьячи тоже оставались в саду: Девушки в ичкари танцевали и пели.

Еще до прочтения свадебной молитвы певицы уже успели охрипнуть, танцовщицы валились с ног от усталости. Закончилось и соревнование певцов в ташкари.

А в одной из самых отдаленных комнат дома вот уже три дня шло совещание. В нем участвовали члены областного комитета — Салимхан, Аббасхан, Мухтархан, Муррадходжа и другие. Среди прибывших из разных мест высоких гостей они держатся скромно, как дети, которым позволили присутствовать на беседе взрослых — помалкивают, смотрят в рот старшим. Почетное место занимает член центрального комитета, человек средних лет, одетый по старинке. Настроение на совещании мрачное. Какая-то безнадежность чувствуется во всем, и ее не могут развеять ни пламенные речи ораторов, ни вновь выдвинутые планы.

Гость из Татарии отверг часть слухов, полученных областным комитетом, а другую часть подтвердил. В частности, отверг слухи об успехах татарских контрреволюционеров, а подтвердил сообщение о том, что организация в Татарии накануне разгрома. Он рассказал также о том, что некоторые представители старой интеллигенции предали организацию и перешли на сторону Советской власти.

Хайдар-хаджи говорил о том, как трудно стало поддерживать басмачество.

— С каждым днем сужается круг действий басмачей. Народ против них. Народ помогает властям бороться с ними. Эта помощь сильнее меча и огня.

Последним говорил председатель центрального комитета. Он подвел итог сказанному. Говоря о басмачестве, он одобрил убийство Самандара-курбаши, перешедшего к русским, только упрекнул Мухтархана, что тот растерялся и не использовал этот факт, надо было распустить слух, что убийство Самандара-курбаши — дело рук правительств, которое хитростью заманило его в ловушку. Тем самым можно было бы вернуть его отряд. Потом председатель сказал, что Джалалабад — не место для борьбы, там ничего не выйдет, а надо все силы сосредоточить на границе с Афганистаном — и разъяснил, как надо там работать.

А во дворе и в саду веселье было в разгаре, продолжались пляски и пение.

IX

Если бы не постоянная смутная тревога на сердце, Саиди был бы доволен своей жизнью. Теперь он уже не сказал бы, что «лучше, чтоб жена была некрасивой», по-

тому что Сорахон уже не казалась ему некрасивой. Очень быстро Сорахон изгнала из его сердца любовь к Мунисхон. Если даже порой и вспыхивала какая-то искорка этой любви, она быстро гасла от поцелуев Сорахон.

В семье Саиди пользовался даже большим почетом, чем сам Мурадходжа-домла. Родные и близкие и слуги кланялись Саиди ниже, чем домле. Однажды домла даже дал пощечину служанке, которая назвала Саиди «Рахимджан-ака». «Изволь называть его «мой бек», — сказал домла.

Денег у них было много. Уже и того, что приносил один домла, хватило бы для жизни всей семьи. А Саиди зарабатывал вдвое-втрое больше. Он занимал семь комнат в доме: часть их была обставлена по-восточному, часть — по-европейски. Одна беда: среди множества книг, расставленных в книжных шкафах, нет ни одной, автором которой был бы Саиди — этого не сделаешь ни за какие деньги.

Все-таки что-то тревожит Саиди. Иногда на него нападает тоска, он вздыхает, раздражается, сердится на всех и на все. Особенно часто это случалось по пятницам, когда он, один или с друзьями, отправлялся в кишлак. Он чувствовал себя так же, как тогда, когда бегал от комсомольской ячейки, которая хотела взять его на учет и дать общественное поручение. Причину своего тяжелого состояния он хорошо понимал сам: все его сегодняшнее благополучие, эта счастливая жизнь непрочны, как дом, построенный на льдине. Не сегодня-завтра под мягким весенним ветром растает лед, расколется льдина — и все унесет бурный поток жизни. В этом потоке могут встретиться такие головокружительные водовороты, что нынешняя жизнь покажется сном... Вот поэтому Саиди по ночам не хочет, чтобы наступало утро, утром не ждет, когда наступит ночь. Каждый прошедший день усиливает его беспокойство.

Ему казалось, что он достиг какой-то вершины, но если пойдет дальше — его ждет гибель. Поэтому, хоть он и мечтал стать всемирно известным писателем и постронть свой дворец в долине, все же сегодняшняя жизнь привлекала его больше, чем это неизвестное завтра, и он готов был отречься и от писательской славы и от своей мечты.

А Мурадходжа-домла между тем был весь в хлопотах, осуществляя свои давнишние планы. Он все время твердил Саиди: «Когда человеку улыбается удача, надо пользоваться этим, нужно стараться добывать деньги и копить их».

— Сейчас у нас уже есть четырнадцать тысяч восемьсот рублей и сто тридцать пять лудов риса, — сказал он однажды, сидя с Саиди в беседке в саду. — В середине будущего месяца можно начинать строить.

Новый дом предполагалось построить на месте старых кладовых, отгораживавших сад от жилых помещений. Саиди долго смотрел на них, что-то думал, потом спросил:

— А проект прежний?

— Пока да. Но он вам не нравится. Я это знал тогда еще.

— По-моему, нет никакого смысла строить еще целый ряд комнат. Их и так у нас достаточно. Если уж строить новый дом, надо придумать что-то такое, чтобы изменился общий вид и двора и сада.

— А как бы вы хотели построить новый дом?

— Дом надо строить на высоком цоколе — метра на полтора высотой; у дома должны быть два крыла, в виде круглых башен, в них будут круглые комнаты с громадными окнами. Между башнями по краям будут две комнаты, посередине — большой зал, а вдоль всего здания — длинная терраса, выходящая в сад. И сад станет красивее: вот тот маленький хауз зароем, а вместо него перед террасой выроем другой — втрое больше. Между хаузом и террасой сделаем дорожку, а вокруг разобьем цветники.

— А где же будет вход?

— Со двора. Он будет вести в зал. Во двор будут выходить окна зала. А высокий цоколь даст возможность устроить хороший подвал.

— Пожалуй, это можно построить за пять тысяч...

— Можно, конечно, но, если уж строить хорошо, можно истратить и пятнадцать. Не надо жалеть на это денег. Вы что же хотите, чтобы это был дом с фанерными потолками и простыми деревянными лестницами и чтобы стены были побелены известкой? Нет уж. Понадобятся и резчики, и каменотесы, и мастера росписи, — а это обойдется недешево.

В сущности, дом, который замышлял построить Саиди, был похож на тот дворец в долине, который он так ясно видел в мечтах. Но проект этот понравился домле, и он тотчас занялся его осуществлением.

Такая спешка с его стороны объяснялась не только желанием поскорее построить новый дом, но и опасением, как бы не подорожали строительные материалы.

Домла срочно стал запасать все для стройки. Велел разрушить кладовки и расчистить площадку для нового здания.

— А я думаю вот что, — сказал однажды Саиди домле, — хоть вы и боитесь, что строительные материалы будут повышаться в цене, по-моему, не следует все запасать заранее! Нужно закупить только то, что необходимо сегодня, а деньги надо пустить в оборот. Это даст, в крайней мере, десять процентов прибыли. Подумайте! Десять тысяч могут дать тысячу рублей прироста. А если вы купите на десять тысяч разных материалов, прибыли у вас никакой не будет. Разве не так? Хотите — я поговорю с Мухаммедраджабом, мы бы дали ему тысячу пять-шесть по десяти процентов. Что вы думаете об этом?

Домла обрадовался.

— Если он даст десять процентов, можем дать ему и десять тысяч. У нас есть еще сто тридцать пять пудов риса самого лучшего сорта — рублей по десять всякий даст. Есть еще и шестьдесят семь фунтов шелка-сырца. Если все это продать, нам на жизнь хватит, а десять тысяч сможем дать Мухаммедраджабу. Я знаю, он — опытный человек. Только вот надежный ли он? Можно ли ему довериться? Вы не обижайтесь, я просто так говорю, на всякий случай...

— Допустим, это принесет нам полторы-две тысячи, — сказал Саиди. — Но и этого мало. Вашего заработка едва хватает на текущие расходы на хозяйство. Поэтому мне надо подумать о дополнительном заработке. В редакции я получаю зарплату, и гонорары мои ограничены. Надо искать работу в других местах. Когда-то я учительствовал... Может быть, мне снова этим заняться? Что вы скажете?

Домла чуть не захлебнулся от радости.

— Преподаватель — это очень выгодное дело. И вам, как писателю, это не повредит, — и он стал называть имена крупных писателей, которые раньше были учителями.

— Я раньше преподавал язык, — сказал Саиди, — теперь я смогу преподавать и литературу.

— Конечно, сможете, какое в этом сомнение! Есть и еще одна возможность. Сейчас очень в цене переводы. За страницу платят три рубля. Если вы вечером для развлечения сделаете три-четыре страницы — это в месяц даст рублей триста-четыреста. Я сам с радостью занялся бы переводами, но, к сожалению, не знаю русского языка. Страница — три рубля, это же здорово! Всего какая-то тысяча знаков...

— А где же найти эту работу?

Домла засмеялся.

— Только пожелайте — я вам сам найду...

Саиди подумал: тысяча знаков — это же пустяки. Тысяча букв — три рубля! Можно ведь перевести в день и десять страниц.

У него даже дух захватило.

В ближайшие недели все эти планы были осуществлены. Саиди съездил к Мухаммедраджабу и предложил ему задуманную сделку. Мухаммедраджаб долго торговался, наконец, согласился не на десять процентов, а на восемь. А к возвращению Саиди Мурадходжа-домла уже достал ему несколько преподавательских мест — и тотчас по приезду объявил:

— В техникуме вы каждый день после работы в редакции будете давать два урока по литературе — это сто восемьдесят рублей в месяц. В вечерней школе рабочей молодежи будете консультировать учителей по родному языку, арифметике, естествознанию, почвоведению. Каждый вечер два часа — двести сорок рублей в месяц.

— А как с переводами?

— Нашел и переводы. Правда, работа мелкая, но зато постоянная: в мастерской вывесок. Я выторговал для вас по четыре с половиной рубля за страничку.

И вот Саиди развернулся вовсю. Уроками и переводами он зарабатывал столько же, сколько и в газете. Но газетные доходы пришлось сократить. Заведующий массовым отделом Кенджа проявлял завидную бдительность. Он заинтересовался, почему в последнее время корреспонденты с мест стали писать на своих заметках: «С гонораром». Раньше этого не было. Неужели раньше информация их не оплачивалась? Кенджа стал проверять, спросил у нового кассира Салахиддина, посылаются ли гонорары корреспондентам, тот удивился и сказал: «Не понимаю, о чем говорите».

Кенджа захотел просмотреть гонорарные ведомости, бухгалтер насупился и сказал, что не имеет права их показывать посторонним. Кенджа возмутился. Бухгалтер обозвал его склочником. Кенджа пожаловался редактору. Узнав об этом, Саиди немедленно постарался отправить Кенджу в командировку. Но сам он стал осторожнее и уже воздерживался от получения гонорара, причитавшегося корреспондентам.

Новый дом строился, фундамент уже поднялся над землей, но почему-то в сердце Саиди опять закралась тревога. Она немного затихала лишь на собраниях гапа, но ненадолго.

Х

Однажды Саиди вернулся с работы очень поздно, совсем измученный. Обычно он шел в сад, обходил строящийся дом, разговаривал с мастерами и, слушая их похвалы будущему зданию, успокаивался и отходил душой. Нынче он прошел прямо в свою комнату, еле передвигая ноги, как после дальней дороги, и устало опустился в кресло-качалку. Сорахон сидела тут же и чистила иголкой свой гребень. Настроение у нее было не лучше, чем у Саиди. Она встала, стряхнула с платья грязь, вычищенную из гребня, и легла на диван.

— Нет ли холодного чая? — спросил Саиди, обмахиваясь газетой.

— Ах, вы хотите пить? — сказала Сорахон. — А разве там, где вы были, вас не угощали чаем?

Сорахон оказалась очень ревнивой. Постоянно она искала признаков измены Саиди, видела их в каждом его движении, в каждом слове и пилила его всякий день. До сих пор Саиди терпел ее нападки, но сегодня не мог удержаться, чтобы не ответить ей.

— Нет! Водой, предназначенной для чая, пришлось искупаться!

— Так я и знала! — проговорила Сорахон и заплакала.

Саиди разозлился. В соседней комнате послышались шаги. Он подумал, что идет мать Сорахон, и замолчал. Когда она вмешивалась в их ссоры с Сорахон, дело всегда кончалось скандалом. Эта старая женщина, высохшая, как мумия, ревновала Саиди еще больше, чем дочь. Вечно она следила за ним, разузнавала, куда он ходил, с кем встречался, своими подозрениями мучила дочь, а порой и сама набрасывалась на зятя. Когда она бранилась, Саиди не решался отвечать ей, потому что за каждое слово он был бы лишен покоя на несколько дней. Поэтому он позволил себе только прозвать ее «соловьем сладкоголосым».

Но в дверях появился Мурадходжа-домла. Переваливаясь с боку на бок, он прошел через комнату и опустился в кресло напротив Саиди, громко рыгнув.

— Благодаренне богу, что напитал, — сказал он, рыгнув еще раз. — Дай бог здоровья! Ну, какие новости?

— Никаких, — ответил Саиди.

— Гмм... А я достал семь ящичков краски... да еще шестнадцать фунтов олифы. Краска очень хорошая. А олифа — такая густая — сироп от варенья... И дешево.

Гмм... И вот еще какое дело. Аббаеҳан предложил мне составить хрестоматию современной узбекской литературы. Я сначала сказал, что мне некогда. Но теперь я вижу — надо мне это составлять.

— Конечно, вам надо взять это на себя. Раз в этом есть нужда, значит, все равно кто-то составит, не вы — так другой. Например, Кенджа. Это вам понравится?

— Конечно, нет, и вот это-то меня и вынуждает взяться за хрестоматию. Но есть и другое соображение. Если мне удастся увеличить объем хрестоматии, то она мне оплатит все необходимые для постройки краски. Да, кстати, я достал для вас еще несколько переводов. Договорился по три рубля...

Несколько минут все молчали. Потом Саиди сказал:

— Я много думал — и даже говорил Якубджану — вот о чем. То, что я не сумел организовать новый гап, не нашел новых людей для этого — не такая уж моя вина. Вовсе я не беспомощен и не неспособен на это. Тех людей, которых собрал Якубджан, и я бы мог завербовать — они нам давно известны. Но ведь и гап, созданный Якубджаном, не расширяется? Почему все те же девять человек в нем — не больше? Вот я и сообразил, что людей, созревших для нашего дела, еще мало, их надо готовить постепенно и вкладывая в это много сил. И начинать надо с молодежи, даже с подростков.

— Взять в руки молодежь — это было бы очень важно.

— Вот я и думаю, что выбор литературных отрывков для хрестоматии может помочь нам привлечь молодежь.

Мурадходжа-домла одобрил эту мысль.

Служанка пришла сказать, что обед готов. Домла вытащил из кармана конверт и передал его Саиди.

— У вас, оказывается, есть товарищ — Эҳсан. Видно, он не очень умный человек...

Саиди взял письмо и прочел:

«Друг Саиди!

Судьба этого моего письма, как и всех предыдущих, отправленных вам, мне неизвестна. Не знаю, в чьи руки оно попадет.

Я слышал, что вы переехали на другую квартиру. Не знаю только, что заставило вас покинуть нашу старую комнату, — нужда ли или соблазн устроиться получше? Для меня это не одно и то же. Если бы я был уверен, что это письмо попадет к вам в руки, я бы объяснил, по-

чему это так. Я закончил институт. Это письмо пишу вам на отдыхе — из Крыма. Здесь я пробуду два месяца. Приеду к вам с дипломом. А вы, конечно, порадуете меня своими новыми произведениями.

С неизменным уважением

Ваш Эхсан».

Домла вышел. Саиди еще раз перечитал письмо. Что-то в нем ему не понравилось. «Интересно, — сказал он себе, — необходимость заставила меня переселиться сюда или... не все ли равно?»

За обедом «сладкоголозой соловей» без конца злословила о разных людях, разбирала чьи-то скандалы, под конец опять жаловалась на служанку, которая поставила веник стоймя, — а это дурная привычка: к покойнику. Ее резкий голос, неумолчная болтовня портили Саиди аппетит, но полученное письмо раздражало еще больше.

После обеда Саиди еще раз перечитал письмо Эхсана, и настроение его совсем испортилось. «Я к вам приеду с дипломом, а вы меня обрадуете новыми произведениями. Что это значит? Что он хочет этим сказать?»

Когда домла назвал Эхсана глупым человеком, Саиди даже обиделся за друга, но сейчас он готов был с ним согласиться.

Он вошел в спальню, стал раздеваться, но ему не хотелось ложиться в постель; решил прогуляться верхом, но вспомнил, что лошадь отправлена в кишлак, и совсем расстроился. В дверь просунулась голова домлы.

— Надо бы написать письмо Мухаммедраджабу...

— Больше я не буду ему писать.

Домла изумился:

— Как же так? Почему? Ну, не платит проценты, черт с ним! Но пусть вернет деньги.

— Нет, нет, и проценты получим. Я сам к нему съезжу.

— Как знаете...

Домла с раздражением хлопнул дверью и, тяжело ступая, направился в сад. Саиди вышел на террасу, со злостью швырнул на землю папиросу, которую курил, взял велосипед и выкатил его на улицу.

XI

Он долго стоял у ворот, руки на руле, одна нога на педали велосипеда, готовый вскопчить в седло и умчаться, но — куда? Он был обижен и зол на весь свет.

Наконец он выпрямился и покатил велосипед через улицу — к распивочной, подошел к прилавку и протянул деньги за кружку вина. Хозяин распивочной сполоснул кружку, наполнил вином и протянул Саиди. Тот осушил ее залпом, как воду. Никогда еще вино не казалось ему таким вкусным, он попросил вторую кружку; пил до тех пор, пока не почувствовал облегчения, и все огорчения стали казаться ему мелкими, а все люди ничтожными. Он сел на велосипед и покатил за город. Было жарко, но Саиди не обращал внимания, ехал быстро и скоро очутился за пределами городских улиц. Проезжая по пыльной дороге, которая вела к реке, он думал: «Нет, надо устроить жизнь по-другому, внести в нее порядок. Редакция отнимает у меня шесть часов. Потом до начала уроков надо поспать. С уроков возвращаюсь к девяти часам. Час-полтора надо заниматься переводами, а остальное время — буду писать. Если каждый день писать по три-четыре часа, можно успеть многое сделать. Ах, почему я не делал этого до сих пор! Ладно уж, пусть только достроится дом, тогда брошу уроки и переводы и буду только писать, писать. За зиму можно написать несколько книг. Теперь-то я уж знаю, как писать. Разве нельзя в один присест написать целый рассказ или главу романа? Вот Мухаммедраджаб вернет деньги с процентами... получится не меньше двух с половиной тысяч прибыли... Если для постройки дома понадобятся еще деньги, я их достану. Дела мои сейчас пошли в гору... И всегда так будут идти».

Хмель окрылил его, но вдруг мечты его оборвались: лопнула камера на заднем колесе. В сумке у него не нашлось ни резины, ни клея. До реки далеко. Но городские ворота были еще видны. Он вспомнил, что у самых ворот должна быть ремонтная мастерская. Он решил зайти туда, залатать камеру и продолжать свой путь. Но мастера он не нашел поблизости, а возвращаться пешком домой в такую жару и так далеко у него не было сил. Да и не хотелось ему туда возвращаться.

Медленно вел он тяжелый велосипед и вдруг, проходя мимо стадиона, услышал, что кто-то зовет его. Он остановился, оглянулся вокруг. На противоположной стороне улицы стояла Мунисхон. Саиди перешел к ней через улицу.

— Что это тебя не видно? Здоров ли ты? — спросила Мунисхон. — А я даже соскучилась по тебе. Что ты так похудел? Как живется тебе с женой?

Саиди усмехнулся.

— Суди по себе. Тебе-то хорошо ли живется с мужем?

— Конечно!

— В самом деле? А я слышал другое.

— Ох, эти людские сплетни!

Они пошли рядом. Мунисхон рассказывала о себе...

Нет, Мунисхон уже не была прежней Мунисхон. Ее глаза, от которых когда-то нельзя было оторвать взгляда, теперь потускнели, покраснели и даже слезились, и она все время щурилась, словно не могла прямо смотреть в глаза другому или хотела заманить взглядом, обещая свою любовь. Саиди смотрел на нее и видел не ту Мунисхон, что стояла перед ним, а другую, прежнюю, какой она была четыре года назад. И потому, что он представлял себе ее прежней, вся недавняя жизнь проходила перед его глазами, и хотелось еще побыть с нею, еще говорить с ней.

Тогда, в студенческие годы, Саиди был недоволен жизнью, его тревожила комсомольская ячейка и факультетские товарищи, он был беден, жил впроголодь, его никто не знал, никто не считался с его мнением, не интересовался его мыслями. Но между тогдашней его жизнью и теперешней была такая же разница, как между юностью и старостью. Тогда он был молодым парнем и только вступал в жизнь: теперь же он чувствовал себя стариком и готов был уйти из жизни. Поэтому сейчас даже воспоминание о том бедственном времени было ему дороже всего нынешнего благополучия.

Мунисхон протянула ему руку, прощаясь, но Саиди не отпустил ее.

— Мунис, побудь со мной еще немного...

— Нет, мне некогда. Говорят, меня спрашивал какой-то большой человек, я должна ему позвонить. Давай встретимся в другой раз. Как ты забрел сюда?

— От нечего делать... Захотелось проехать к роднику. Лопнула камера у велосипеда. Инструментов не нашлось починить. Мастера тоже не нашел.

— Если ты сам сумеешь починить, я дам тебе инструменты. Дойдем вон до того дома...

Мунисхон ввела Саиди в какие-то ворота, открыла своим ключом обитую черной клеенкой дверь.

Это была тесная, похожая на прежнюю комнату Саиди каморка с цементным полом, маленькое окно было закрыто газетой. В комнате была только железная кровать в углу и столик у ее изголовья, а рядом две табуретки. Кровать была в беспорядке, как будто с нее толь-

ко, что встали — одеяло, подушки разбросаны, белая простыня сбита к ногам. Саиди поставил велосипед у двери и сел на табурет. Мунисхон расправила простыню на кровати, покрыла ее одеялом, вышла во двор и тотчас вернулась.

— Сейчас принесут инструменты, — сказала она и почему-то закрыла дверь на крючок. — Здесь жарко, сними рубашку.

Конечно, чтобы починить велосипед, лучше было снять рубашку. Но еще раньше, чем Саиди встал и снял рубашку, Мунисхон без всякого стеснения, спокойно, словно перед ней был ребенок или муж ее, стала раздеваться. Саиди замер. Он уже испытал однажды такое состояние, когда случайно, занимаясь с Мунисхон, взял ее за руку и в вырезе платья увидел грудь. Мунисхон повесила платье на спинку кровати, распустила волосы, так что они упали ей на грудь, и села, ожидая. Саиди стоял посреди комнаты, не зная, что делать.

— Ну, что же ты? Почему не раздеваешься? — сказала Мунисхон, смеясь и разбирая пряди волос.

Саиди мгновенно остыл. Перед ним сидела самая обыкновенная женщина с самым обыкновенным телом. Кровь, только что бурлившая в нем, вдруг отхлынула от сердца, успокоилась; все волнение и желание молодого мужчины, вся его давняя страсть погасли, он сразу отрезвел и ослаб, словно его накрыли мокрым одеялом.

Он снял рубашку и снова сел на табурет. Мунисхон оперлась обеими руками на стол и глядела на Саиди.

— Боишься жены?

Саиди не отвечал.

— Хочешь вина?

Он замер — теперь уже от удивления, хотел что-то сказать, бросил на нее быстрый взгляд. Она закрылась волосами и откинулась на спинку кровати, как будто Саиди собирался наброситься на нее. А Саиди не мог даже слова вымолвить — все ее действия скорее заставляли его готовиться к обороне, но ничуть не к наступлению...

Он оглянулся на дверь. Мунисхон поднялась, обошла его и, став позади, обняла его голову и повернула к себе. Саиди взял ее за талию, но это совсем не было тем объятием, которым, наконец, молодой мужчина привлекает к себе любимую женщину.

Мунисхон поняла это, и ее охватила обида, мгновенно перешедшая в гнев. Дикий гнев женщины, не добившейся желаемого. Она освободилась из объятий, отсту-

пила в глубь комнаты и, собрав в руку волосы, глядя прямо в лицо Саиди, закричала:

— Чем хуже я твоей жены? У нее лицо, как кухонная тряпка...

Саиди испуганно встал, пытаясь удержать, остановить дикую вспышку, но Муниسخон уже упала на кровать и, извиваясь, как в судорогах, зарыдала в голос.

— Мунис... — сказал тихо Саиди. — Муниسخон...

Она сразу вскочила, вытерла ладонями глаза и все равно не могла удержать слез.

— Ты не стоишь и ногтя тех людей, кто мечтает коснуться меня! Чем ты гордишься? Ты думаешь — ты красив? Ты — как обглоданная собакой кость! Ты думаешь: ты писатель? Да что у тебя есть?

— Ничего у меня нет...

— Что ты написал? Какие книги? Где они?

— Ну, довольно! — резко сказал Саиди.

— Нет, ты скажи мне, что же ты создал, если ты писатель?

— Ничего я не создал, Муниسخон...

Саиди произнес это, полный жалости и обиды. Но, как и у Муниسخон, обида вдруг вызвала в нем страшный гнев. Муниسخон хотела что-то ответить, подняла голову, и он со всего размаха ударил ее прямо в лицо. Она опрокинулась и упала с кровати. Не оглянувшись на нее, Саиди резко открыл крючок и вышел.

XII

В начале августа постройка дома была закончена, но Саиди еще не успокоился и все не мог засесть за книгу. С тех пор, как он стал считать себя наследником домлы, все в хозяйстве требовало его внимания. Он знал, что в городе ощущалась острая нехватка жилья, и новый дом, выстроенный домлой в то время, когда и старый был достаточно вместителен, не мог не вызвать лишних разговоров. Надо было что-то предпринимать во избежание неприятностей.

Кроме того, домла жаловался на безденежье, все свободные деньги были вложены в дом. Мухаммедраджаб вел себя бессовестно, и Саиди чувствовал себя виноватым перед домлой. Долг — восемь тысяч Мухаммедраджаб вернул, но процентов так и не выплатил. А поступить с зятем круто Саиди не мог: сестра его начинала слепнуть, и зять грозил выгнать ее.

Домла знал, конечно, что Саиди вовсе не хотел выго-

раживать зятя и сам тяжело переживал потерю денег, но все-таки нет-нет да и напоминал, а жена и дочь твердили постоянно, что «проценты этот проклятый Мухаммедраджаб зажил. А кто он такой? Зять Саиди, свой человек...» Саиди не мог вынести этих попреков и работал днем и ночью, чтобы заработать побольше денег и заткнуть рот Сорахон и «сладкоголосому соловью». Забота о зарботке, постоянные поиски новых и новых источников дохода скоро заставили Саиди забыть о намерении, как только дом будет закончен, засесть за роман. Деньги, деньги, деньги! Если Саиди заработал рубль, семья требовала от него десять. Но и тогда, когда он зарабатывал десять, в семье жаловались на безденежье.

В конце месяца Саиди получил зарплату и, как обычно, отдал деньги Сорахон. Она взяла деньги и вышла, но через минуту вернулась расстроенная.

— Почему так мало? — спросила она, бросая на стол скомканные бумажки.

— Мало? Но я же вчера подсчитал и сказал, сколько я получу.

— И все-таки тут меньше на восемь с полтиной... Саиди молчал.

Сорахон запричитала визгливым голосом:

— Что хорошего принесло мне замужество? Даже надеть нечего, когда надо в гости пойти... Другие уж по четыре пары лакированных туфель износили, а я... — И, усевшись на стул у окна, она заплакала.

Тут вошла мать Сорахон с чайником в руке. Ее появление заставило сжаться сердце Саиди. «Этого еще не доставало... Хоть бы она не видела этих дурацких слез!» — сказал он про себя и, собрав все свои силы, даже улыбнулся теще. Но она, споласкивая пилалы, посмотрела на дочь.

— Ну, что еще случилось? Что ты плачешь? Если бы твои слезы могли помочь, семья давно бы уж благоденствовала...

Саиди хотел встать и уйти к себе в комнату, но он знал, что, едва он встанет с места, «сладкоголосый соловей» разразится криком на весь дом. Теща села пить чай, часто и громко глотая, и каждый этот глоток отзывался в сердце Саиди чугунной тяжестью.

С трудом выпив пилалу чаю, Саиди ушел к себе и плотно закрыл дверь. Но и через стену он слышал, как теща нарочно громко говорила дочери:

— Не всякий может содержать жену! Вот ты вышла замуж, а что ты увидела хорошего? Даже ни разу подружек своих не собрала, не угостила пловом. Хоть одна твоя мечта сбылась? Или моя? У других молодых женщин — твоих сверстниц — чего только нет: и золотые часы, и браслеты золотые на обеих руках! А у твоего — весь заработок лишь на четырех захудалых баранов хватит...

Как ни старался Саиди отвлечься, заняться чем-то, голос тещи не давал ему покоя. Мурадходжа-домла притворялся, что не знает, о чем говорят жена и дочь. Саиди не был в этом уверен, но сам не заговаривал об этих попреках, считая это ниже своего достоинства.

А чтобы не слышать упреков в «неспособности содержать жену», приходилось трудиться с утра до ночи, браться за любое дело, если только оно могло принести деньги. Он по-прежнему работал в редакции, по вечерам бегал по урокам, ночью переводил всякие заглавия и надписи. Раньше он считал эти переводы занятием временным — пока не построится дом, но теперь уже нельзя было лишиться такого заработка — ведь это грозило семье голодом, как ему говорили. Он был так занят все время и так много работал, что ему некогда даже было подумать о себе, не то, что о своей задумке писать, но и просто о том, что с ним будет дальше.

В последнее время он уставал и ложился поздно, но сон не шел к нему. В голове шумело, и ему казалось, что она готова расколоться. Единственные часы, когда он был свободен и принадлежал себе, — ночная бессонница; но когда он в эти часы принимался думать, то все чаще признавался себе, что у него нет больше сил жить.

В конце августа краткосрочные вечерние курсы, где он преподавал, закрылись. Если не считать редакции, техникума да переводов, у него не было других работ. И, вернувшись из редакции, Саиди мог теперь отдохнуть часок-другой до занятий в школе. Мурадходжа-домла тут же стал подсчитывать, во сколько обходится этот ежедневный отдых.

«Сладкоголосый соловей» сердилась на дочь и ударяя себя кулаком по голове, кричала:

— Ах, чтоб тебе умереть, несчастная! Почему я должна смотреть за твоим мужем? Он тебе нужен ты и смотри! Скоро уже все смеяться над тобой будут!

— Да что он такого сделал? — спрашивала Сорахон

— Жена должна держать мужа в руках... следить за ним... Вот я вижу, как он заглядывается на моло-

деньких... На тебя и не глядит, а стоит какой-нибудь девчонке войти в дом, так и заулыбается... Как-то невестка Айпашши ходила по крыше, так он при мне не решился глазеть на нее, а пошел в комнату, взял зеркало и навел на нее. Я ушла в комнату, потихоньку смотрю в окно: что будет. А он взял кусочек глины, смял и бросил ей на крышу. А та негодница тоже строит ему глазки! И чего он все дома сидит? Разве мало работы?

Сорахон должна была сказать, что она ничего такого не заметила, но, мгновенно вспыхив, вскричала:

— Я сама знаю, что мне делать! — И со слезами отправилась искать мужа. Саиди, ни о чем не подозревая, сидел в это время в саду на супе и читал газету, читал свою старую статью, написанную полтора года назад, и удивлялся, какой у него тогда был хороший слог, какое острое перо. Увидев Сорахон в слезах, он испугался новых сцен, быстро встал и ушел в дом.

Но Сорахон пошла следом за ним.

— Теперь уж и смотреть на меня и разговаривать со мной не хотите? — говорила она.

— Ну, что еще случилось? Объясни, пожалуйста, если я виноват, буду каяться. Но зачем же нарочно придумывать какие-то неприятности? Стоит ли расстраиваться из-за пустяков?

Тонкие губы Сорахон задрожали.

— С одной женой не можете справиться, а уж другую захотели?

Саиди засмеялся принужденно.

— К кому же это я посылаю сватов?

— Мало ли к кому. Может быть, к этой бесстыднице Холнисе!

Сорахон упала на диван и заголосила на весь дом. Боясь, что этот плач навлечет на него новые нарекания, Саиди принялся умолять жену:

— Сорахон, ну объясни же мне, в чем дело... Сорахон, я готов во всем тебе покаяться, только скажи, в чем я провинился...

— Ах, я уж давно замечаю... Пусть бог вас накажет! — продолжала плакать Сорахон. — Недаром вы каяться готовы...

Тут вошла теща с вазой для цветов. При виде ее Саиди сжался в комок.

— Что случилось? — спросила, будто ничего не зная, «сладкоголосый соловей», ставя вазу на стол.

— Сорахон мне еще не объявила, что случилось, — сказал Саиди, пытаясь улыбнуться.

— Ах, оставьте, Рахимджан, что тут говорить?! Бог нас покарал уже. С тех пор, как вы взяли мою дочь, разве она видела хоть один светлый день? Если у вас есть что-то на уме, вы бы уж лучше прямо и сказали...

И «сладкоголосый соловей» залился, зашелкал на все лады. И уж не о ревности Сорахон пошла речь, а опять о том, что Саиди не заботился о семье и что Мухаммедраджаб присвоил себе проценты.

— Ваша сестра, наверное, думает, что братец ее кормит и жену и тещу, а не знает она, что он...

Саиди все молчал. Какой-то яд разлился по всему телу, вызвал дрожь в ногах и руках, поднимался к голове. Он уже не слышал, что продолжала говорить теща. Он подошел к рабочему столу, лицо его вдруг стало судорогой, и он закричал изо всей мочи:

— Вот я такой! И оставьте меня!

И собственный голос дошел до него как будто изда- лска. Но теща не унималась.

— До сих пор я старалась все для вас сделать, сид своих не жалела; в огонь и в воду готова была броситься ради вас... Теперь у меня уж и сил больше нет... А дочь, вместо того, чтобы конить свое богатство, все наиге с отцом прикончила... Вы забыли, что, когда пришли к нам в дом, подошвы к ботинкам привязывали проволокой?..

Саиди с трудом встал, поднял руку и со всей силой ударил по столу. Стекло на столе разбилось вдребезги, пальцы на руке были изранены; сам он упал в кресло, потом повернулся и рухнул на пол. Он весь дрожал, зубы стучали, как от холода, белая пена выступила на губах и, смешавшись с кровью из порезанной руки, потекла на крашенный пол.

Растерявшаяся теща бросилась бежать, наткнулась в дверях на Мурадходжу-домла и упала. Сорахон перешагнула через нее и тоже убежала. Сам домла боялся войти в комнату. Прибежавшая служанка подошла к Саиди, расстегнула ему ворот рубашки, принесла воды, стала брызгать ему в лицо. Домла стоял у двери и дрожал, жена его рядом с ним бормотала какие-то молитвы. Послышался громкий плач Сорахой, она вбежала и, плача, стала бить мать ногой.

— Чтоб ты сдохла, чтоб тебя бог унес! — кричала она. — Пусть только он умрет... я не знаю, что я тогда сделаю... Ни за что не останусь в этом доме! Пусть бог меня покарает... Ох, горе мне!..

Служанка вытащила кусочки стекла, вонзившиеся в руку Саиди, и продолжала его обмахивать. В таком состоянии он был уже больше трех часов. Наконец он пришел в себя и попросил пить. Увидев это, домла вошел в комнату с выражением соболезнования и даже отпустил жене две звонкие пощечины.

XIII

После этого случая «сладкоголосый соловей» притихла и стала реже показываться Саиди на глаза.

Однажды Саиди пришел из редакции радостный. Его рассказ, полгода назад посланный в один из журналов, наконец был напечатан и с иллюстрациями. К этой радости прибавилась еще одна: в правом крыле нового дома его ждал рабочий кабинет, точь-в-точь такой, какой он мечтал устроить себе во дворце в долине. Пока он был на работе, Мурадходжа-домла перенес все из его рабочей комнаты и даже еще украсил дорогими вещами из своих запасов. Прежняя его комната стала теперь комнатой Сорахон. Когда Саиди вошел, Сорахон ползала по полу, собирая что-то. Увидев мужа, она вскочила и повисла у него на шее.

— Поглядите: она живая или мертвая? — спросила она, показывая на муху, лежавшую на белой простыне, расстеленной на ковре.

Саиди бросил журнал, который принес с собой на диван, присел и дотронулся пальцем до мухи. Муха была жива, но оглушена.

— Она живая.

— Почему живая?

— Потому что шевелится, — сказал Саиди, вытирая платком руки и лицо. Сорахон залиvisto захохотала, потом, словно увидев что-то чрезвычайно интересное, застыла.

— Пойдите, пойдите! Не двигайтесь! — закричала вдруг Сорахон, уставившись на голову Саиди, и подняла руку. — Ах, какая жирная, большая попалась!

Саиди удивленно смотрел на нее и не двигался. Сорахон зажала муху в кулаке и поднесла к самому уху Саиди.

— Слышите?

Муха жужжала.

— Слышу... ну и что?

— А вот сейчас увидите. Нет, погодите... сначала скажите: если у мухи оторвать голову, она умрет?

— Умрет, но, может быть, не сразу.

— И будет ходить, летать?

— Нет уж, ни ходить, ни летать не будет...

— А я говорю: будет летать. Давайте спорить? На что?

— Ладно, на что хотите.

— Если вы проиграете, купите мне хан-атласа на платье. Если выиграете, просите у меня, что хотите...

Сорахон осторожно взяла за крылья муху, зажатую в кулаке, маленькими ножницами отрезала ей голову и отпустила ее. Муха поднялась, пролетела вокруг комнаты и упала около окна. Сорахон, жадно следившая за ней, подняла ее и подбросила вверх. Муха опять полетела.

— Видели? — сказала, торжествуя, Сорахон.

Саиди согласился, что проиграл, и обещал купить ей на платье. Потом лег на диван и стал читать журнал. Ему хотелось показать жене свой рассказ и поделиться с ней своей радостью, но Сорахон все еще была занята мухой. Саиди позвал ее.

— Взгляни-ка сюда,— и показал ей сраницу журнала с рисунками.

Сорахон стала рассматривать картинки.

— Что это?

— Мой рассказ.

— А сколько за это заплатят?

Саиди ждал от нее других слов, радость его погасла, он отвернулся и замолчал. Сорахон бросила журнал, встала и опять занялась мухами.

Вошел Мурадходжа-домла. Он был в хорошем настроении, смотрел на Саиди, улыбаясь.

— Ну, вы видели свой кабинет? — спросил он, садясь рядом с Саиди.— Теперь надо и эту комнату обставить лучше... Что вы скажете, Рахимджан?

— Надо здесь побелить и пол выкрасить,— сказал Саиди, оглядывая комнату. Домла приподнял край ковра, чтобы посмотреть на пол, увидел множество дохлых мух и поморщился.

— Откуда их столько? Отравы достали, что ли?

Саиди только теперь увидел повсюду на полу дохлых мух — куда бы ни взглянул — везде валялись мухи, подняв лапки кверху.

Сорахон взяла тарелку с медом и ушла.

Домла еще долго осматривал пол, стены, потом заметил лежавший на подушке журнал.

— Это новый?

— Да, только что вышел. Здесь мой рассказ, уже давно отправленный, но вот только теперь напечатанный.

Домла посмотрел рисунки, прочел из середины рассказа несколько фраз и нашел погрешности в языке.

— Вот вы пишете: «У нее не было даже платья из чита». Чит — это испорченное русское слово «ситец». Такие слова мы должны стараться заменить нашими словами. В моей книге, которую я сейчас пишу, я доказываю, что это необходимо, чтобы сохранить чистоту языка. У русских каждая ткань имеет свое название: ситец, сатин, маркизет и так далее. У нас тоже каждая ткань называется по-своему: буз, дуда, калами, алача, бекасам и прочее.

Но тут домла отложил журнал и повел Саиди в его новый кабинет. В огромное распахнутое окно виден был сад с цементированным хаузом, с цветниками вокруг.

— Ну, как? Хорошо? Нравится вам? — спросил он, широким жестом указывая на обстановку комнаты и вид из окна.

Саиди не мог найти слов, чтобы выразить, как он доволен.

— Знаете, я мечтал, чтобы у меня был такой кабинет, но и в мечтах он не был так хорош.

— Эх, Рахимджан, человек рождается, приходит в этот мир один только раз. На этом свете ему выпадает много забот, но если он не позаботится о том, чтобы удовлетворить свои потребности, и не сумеет насладиться всеми благами жизни, то зачем же тогда он родился, и не все ли равно — живет он или нет?..

Домла принялся развивать свою мысль. По его словам, не было никакой разницы в том, торгует ли человек, хозяйничает ли в ресторане, или пишет книги, имеет профессию маклера или живописца. Главное — это путь к добыванию хлеба насущного, ремесло, дающее возможность в отпущенный судьбой краткий срок жизни добиваться как можно больше земных благ.

Все это было только предисловием. Еще вчера домла говорил с Саиди о нехватках в хозяйстве и уговаривал его зарабатывать больше. Сегодня у него были уже конкретные предложения: он вынул из кармана бумагу и протянул Саиди. Это было объявление.

«Перевожу с русского на узбекский и с узбекского на русский язык. Работа выполняется быстро и за небольшое вознаграждение. Заказы принимаются ежедневно с трех часов дня до десяти вечера. Адрес: улица Пояки, 13».

Саиди прочел и покраснел.

— Удобно ли это?

— Почему же неудобно? Ведь вашего имени мы не называем...

Саиди долго думал, потом махнул рукой и сказал:

— Хорошо. Пусть будет так. Будем считать, что это не имеет никакого значения.

Домла хотел что-то сказать, но из сада раздались вдруг вопли Сорахон, и Саиди выбежал из комнаты. Домла пошел за ним следом. Сорахон с криком бежала к дому не по дорожке, а прямо через цветники. Пока Саиди добежал до нее, она упала. Саиди поднял ее. Она была бледная, заикалась от страха и пыталась что-то сказать. Можно было разобрать только одно слово: «Ту-па... Ту-па...» Подошел домла и следом за ним «сладкоголосый соловей». Увидев кровь на платье Сорахон, мать запричитала. Но Сорахон просто поцарапалась ножницами, которыми отрезала головы мухам. Саиди поднял ее, отнес в дом и положил на диван. Домла побрызгал на нее водой. «Сладкоголосый соловей» по старому обычаю подожгла тряпку, помахала ею над головой Сорахон и выбросила.

— Хорош муж — не мог уследить за ней! — ворчала она на Саиди.

Домла гладил голову Сорахон.

— Доченька, открой глазки, скажи нам, что же случилось?

Сорахон открыла глаза, пробормотала: «Ту-па», — и опять зажмурилась.

— Ту-па — это служанка, — хозяйка вдруг заволновалась. — Что там с этой дохлятиной? — воскликнула она и побежала к арыку, где Ту-па стирала белье, но через минуту вернулась и позвала Саиди: — Рахим-джан, придите вы, посмотрите... она лежит как-то странно.

Саиди побежал в сад, куда ему указала теща, а та вернулась к дочери. Сорахон, наконец, открыла глаза.

— Чего ты испугалась, доченька? — спросил домла.

— Там Ту-па лежит... мертвая... Я так испугалась...

— Вот дурочка, зачем же ты к ней подошла, если она умерла... — сказал домла, вставая, и пошел за Саиди.

Под большой чинарой, в углу сада, на берегу огромного арыка вился дым из-под котла, где кипятилась вода для стирки. В нескольких шагах от него, возле корзины с выстиранным бельем, лежала Ту-па — служанка. Губы у нее почернели, рябые лицо было желто-восковое. Руки бессильно лежали вдоль тела.

Саиди носком туфли дотронулся до руки ее, нагнулся и прислушался. Тупа дышала еле-еле. Саиди хотел было уже уйти, но послышался голос домлы:

— Жива? Побрызгайте на нее водой! Надо дать ей понюхать наса. Сейчас я скажу Астане, чтобы он принес насвай.

Домла ушел на двор, чтобы взять у Астаны нас, но у того его не оказалось. Работник уже было направился за ним на улицу, но домла остановил его, принес из дома объявление Саиди и приказал расклеить на дверях почты, аптеки, бани и в других местах. Между тем Саиди, набрав в ковш воды из арыка и отступив подальше от Тупы, стал брызгать на нее водой. Тупа чуть открыла глаза.

— Ну, что случилось? — спросил Саиди. — Вы больны? У вас был припадок?

— Нет, мой бек, — прошептала Тупа. — Я не больна... Я со вчерашнего дня не ела... маковой росинки не было во рту... Хозяйка наша жалости не знает... Воды бы мне напиток...

Саиди взял ковш и, подойдя, сказал:

— Откройте рот... — словно собирался лить ей воду из ковша в рот, стоя над ней. Тупа открыла глаза.

— Мой бек, я не больная... не брезгуйте мной... Когда вы упали на пол без чувств и у вас изо рта текла пена, я же не побрезговала... помогла вам... Я же не больна... это от голода... слабость...

Тупа не могла продолжать, из глаз ее выкатились слезы, поползли по щекам, мешаясь с каплями пота над верхней губой. Саиди положил ковш на траву и ушел. Навстречу ему шла теща.

— Что же там случилось?

Саиди засмеялся.

— Она просто голодная.

— У, чтоб она лопнула!

— У вас найдется немного молока?

— Я уж все молоко вскипятила и заквасила.

— Ну, пошлите ей лепешку, — сказал Саиди и поднялся на террасу.

И только через два часа вернувшийся наконец Астанкул отнес на берег арыка лепешку для Тупы.

XIV

В одну из пятниц Аббасхан обедал у Мурадходжидомлы, а вечером уговорил Саиди пойти с ним в театр. По-

казывали новую музыкальную драму. Зрителей собралось очень много.

В первом антракте Аббасхан разговорился с каким-то знакомым, а Саиди прогуливался по фойе с Салимханом. И тут произошла встреча, которой он не ожидал и не желал: он увидел Эхсана, который шел в группе молодежи. Саиди растерялся, вспомнив, что Эхсан плохо отзывался когда-то о Салимхане. «Что он подумает, застав меня с Салимханом?» — мелькнуло у него в голове.

Эхсан же, увидев Саиди, отделился от товарищей и направился к нему. Саиди вдруг охватил страх, которого он не мог даже объяснить себе. Будто на него вот-вот свалится огромный тополь и раздавит его. Он так смутился, что, здороваясь с другом, мог сказать только: «Давно ли вы приехали?» Эхсан поздоровался с Салимханом — значит, узнал его и, конечно, помнит ту московскую историю. Саиди держался очень вежливо, но, к счастью, раздался третий звонок, они разошлись, натянутость этой встречи не была никем замечена.

Пока не погас свет в зале, Эхсан, сидевший неподалеку от Саиди, несколько раз оглядывался на него и что-то говорил своим товарищам.

Аббасхан куда-то исчез. Вместо него, когда уже открывался занавес, появился Салимхан.

— Это место Аббаса?

— Да. А где же он?

— Ушел. Сказал, что вернется к следующему действию.

Занавес открылся. Но Саиди не мог уже наслаждаться музыкой. Салимхан шепнул ему:

— Вы, оказывается, знакомы с Эхсаном?

— Да, знаком.

— Он учился на медицинском, говорят, окончил и приехал сюда работать врачом, — сказал Салимхан.

Эти слова почему-то были для Саиди как нож в сердце.

— Ну и что ж, окончил, это еще не значит, что стал врачом, — отвечал он сердито. — И откуда вы все знаете про него?

— Аббас получил письмо из Москвы.

Саиди с удивлением повернулся к нему.

— Разве Аббасхан знает его? Что у них может быть общего?

Салимхан толкнул его в бок, напоминая: «говори потише», потом прошептал на ухо:

— Не все такие, как вы...

Салимхан хотел этим подчеркнуть, что Саиди — все ещё младенец в таких делах, где нужно уметь предвидеть и завязывать связи с нужными людьми.

Саиди это понял, и у него раскрылись глаза. В самом деле, ради того, чтобы привлечь в свои ряды такого человека, как Эхсан, стоило поступиться многим. Ведь там и до его ближайшего друга, Шарифа, который сейчас уже секретарь райкома, было бы рукой подать. А если так, то затухающий почти костер контрреволюции вдруг может разгореться ярко и охватить пожаром всю страну. Сердце Саиди забилось сильно.

Салимхан глядел на него многозначительно, будто спрашивал: «Неужели тебе не о чем поговорить с Эхсаном?»

В антракте Саиди только хотел подойти к Эхсану, как тот сам подошел к нему. Эхсан был весел, спектакль произвел на него хорошее впечатление.

— Рахимджай, — сказал он, улыбаясь, — а ведь у нас есть, оказывается, настоящая музыка! Я думал, что после того, что я слышал в Москве и в Ленинграде, я не смогу уже наслаждаться узбекскими мелодиями. Но музыка наша за эти годы так выросла, ушла вперед! Теперь между прежним нашим базарным оркестром и этой музыкой такая же разница, как между старым ткацким станком и современной фабрикой. Но вот инструменты наши так и говорят: «Мы созданы для узкого круга в мехманхане...» Надо что-то изобрести, чтобы усилить оркестр...

— Пойдем, походим? — предложил Салимхан. И тут же пожалел об этом, так как увидел, что Эхсану совсем не хочется с ним ходить, он стремился поговорить с Саиди.

Саиди же боялся оторваться от Салимхана, остаться наедине с Эхсаном, как будто Эхсан собирался съесть его. Салимхан искал предлога, чтобы покинуть их, увидел Аббасхана и бросился к нему чуть не бегом. А Эхсан, взяв Саиди под руку, вышел с ним из зала. Этот короткий антракт страшно утомил Саиди. Считая Саиди писателем, Эхсан предполагал, что он широко осведомлен обо всем, что делается в некустве, себя же признавал невеждой в сравнении с ним, поэтому старался узнать мнение Саиди по самым разным вопросам, «уточнить», как он говорил, свою точку зрения. Саиди было неловко, он не знал, что отвечать, и, пытаясь направить разговор в другую сторону, спросил:

— Вы женитесь?
— Потом все расскажу. Надеюсь, вы сегодня войдете к нам, не так ли?

Саиди не ответил.

Раздался звонок, лампы в зале погасли. Когда Саиди пробрался на свое место, там уже сидел Аббасхан.

— Куда это вы исчезали? — спросил его Саиди.

Началось третье действие, Аббасхан зашептал на ухо Саиди:

— Наконец вы нашли своего друга. Он, видно, не жалеет Саямхана, и вам тоже следует держаться от него подальше. Я знал, что вы когда-то учились с Эхсаном в одной школе, но думал, что потом вы разошлись. Меня он, кажется, не узнал, а если и узнал, то... Во всяком случае, вам незачем вмешиваться в наши отношения, только испортите все... Я сам с ним постараюсь сойтись. Вы только должны устроить так, чтобы мы с ним встретились. Но и это еще не сейчас... Я сам вам скажу, когда...

Очевидно, молчание Саиди в ответ на приглашение Эхсана пойти к нему тот принял как согласие. Поэтому после спектакля он ждал Саиди. Но Саиди предложил, хоть и не очень настойчиво:

— Давайте лучше пройдем ко мне.

Дорогой Саиди казалось, что кто-то спрашивает его: «Эхсан выучился, стал врачом, а ты за это время кем стал, что сделал?» И мысленно он отвечал: «Он стал врачом, а я сумел устроить свою жизнь. Сумеет ли он построить себе такой дом, обзавестись таким хозяйством — или будет бедствовать до седых волос? Неужели он не почувствует разницы?»

XV

Внести что-то новое в науку, обогатить ее, зачеркнуть на ее карте еще имеющиеся белые пятна — в этом и есть истинное призвание ученого, и об этом мечтал Эхсан уже с первых лет учения в Москве. С годами это стремление по-настоящему работать в науке стало целью его жизни. Он приехал в Узбекистан не для того, чтобы работать врачом-практиком в какой-нибудь районной больнице, он думал лишь отдохнуть, оглядеться и вернуться опять в московские хорошо оснащенные лаборатории. Но уже на второй день по приезде Шариф, от которого он ждал поддержки, сказал ему: «Мы перестроили наш пятилетний план, и для науки у нас теперь открылись широкие возможности». Эхсан знал, что Шариф не бросает слов на ветер. Он понял эти слова так: «Не уезжай, работа найдется». Но серьезно к этому разговору не отнесся, ведь Шариф не мог представить себе эти «широ-

кие возможности для науки», если он не занимался наукой так вплотную и так страстно, как сам Эхсан. Но очень скоро ему пришлось убедиться, что дело обстоит совсем иначе. Точно так же, как узбекская музыка привела его в восхищение даже после того, как он имел возможность наслаждаться великими произведениями всемирно известных музыкантов, так он видел теперь на каждом шагу, как выросли люди у него на родине, как высок стал их культурный уровень. Шариф не просто заявил об «открывшихся широких возможностях» для науки, он мог собрать вокруг себя людей, поставить перед ними наиболее важные на данный период времени задачи. Эхсан быстро сообразил, что был слишком высокого о себе мнения, и едва не попал в неловкое положение.

Шариф больше не заговаривал с ним о том, что ему делать — уезжать или оставаться, но однажды он взял с собой Эхсана на совещание ученых, приехавших из центра для проверки местности, где должен был строиться рабочий городок. Он должен был вырасти между промышленным комбинатом и гидроэлектростанцией, возводимой для обеспечения комбината электроэнергией. Специалисты-градостроители считали, что выбор места для городка неудачен: при постройке гидроэлектростанции реку придется запрудить, весной она разольется километров на двадцать, и громадная площадь примерно в тридцать квадратных километров окажется в сырой низине, где нельзя строить жилые дома. Обсуждение становилось все оживленнее, споры все острее, а в воображении Эхсана вместо привычных картин научных лабораторий, где за стеклами блестят многочисленные инструменты, где царит тишина и на столах лежат подопытные кролики и собаки, приготовленные для очередных опытов, — вместо всего этого перед ним вставали знакомые с детства горы, их склоны и ущелья, шум экскаваторов, роющих землю, поезда и машины, везущие песок, гравий, цемент и другие строительные материалы... Как только этот грандиозный план начнет осуществляться, вся жизнь в долине изменится. Люди, которые сумеют направить реку по новому руслу и сделать иным облик города, изменятся сами и изменят всю свою жизнь. И какие большие задачи поставят эти люди перед всеми отраслями науки!

Городской отдел здравоохранения намеревался направить Эхсана на работу в поликлинику. Но Эхсан не хотел только осматривать больных и выписывать им лекарства. Он считал, что врачу-коммунисту мало зани-

маться только этим. Ведь основа советской медицины — не просто лечение больных, но предупреждение болезни, причин, ее вызывающих. Почему нельзя браться за крупные проблемы? Почему нельзя уничтожать малярию не только в этой долине, но и во всем крае?

Заведующий городским отделом здравоохранения Насыров, человек недалекий, высказал на этот счет свое мнение: «Занимающийся медициной не должен стремиться к высоким постам, чинам и званиям». Эхсан очень обиделся, но все же попытался объяснить Насырову, почему он отказывается от врачебной практики и чем он хочет заниматься. Насыров сделал вид, что ему только теперь стали ясны намерения молодого врача, и уверил Эхсана, что всегда поддержит его в этих больших начинаниях. Он крепко пожал Эхсану руку, поздравил его с замечательной передовой идеей, а про себя подумал: «Вот свалился на мою голову, сукин сын! С этими своими идеями он не даст мне покоя. А то и вовсе вытеснит с моего места!»

Эхсан стал работать в отделе здравоохранения. Насыров относился к нему внешне благожелательно, всем говорил о том, как он рад, что у него в отделе работает такой талантливый врач-коммунист. Но очень скоро он отправился в культпром горкома партии, долго расхваливал «врача-коммуниста», жалел, что он отсиживается в аппарате, и просил перевести его на более высокое место, где он может принести больше пользы, — назначить заведующим новой платной поликлиники, только что открытой Обществом Красного Полумесяца. А вернувшись, он пригласил Эхсана к себе в кабинет и сказал: «Нет у нас в культпроме понимающего человека: только что назначили вас сюда и вот уже хотят перевести на другую работу. Как я ни спорил, ничего не получилось».

Однако Эхсан на новую работу не перешел и продолжал работать в отделе. Насыров с трудом терпел его. С виду он проявлял к нему всяческую доброжелательность, но работники отдела, давно служившие под его началом и изучившие хорошо его характер, знали, что под этим внешним расположением крылась самая лютая ненависть. Эхсан не обращал на него внимания, но со многими работниками здравоохранения сработался и даже сдружился, помогая им и не стесняясь сам просить помощи, когда надо было. Одним из этих новых друзей был профессор Светлов, уже более тридцати лет изучавший тропические заболевания в крае. С первого знакомства с Эхсаном профессор почувствовал к нему симпатию, но, зная, что у На-

сырова черная душа, что тот будет всячески мешать Эхсану; он не решился открыто встать на сторону Эхсана, не надеясь на его победу.

Придя к Саиди после театра, Эхсан посвятил его во все свои дела и рассказывал о своей работе до рассвета. Он даже не просил Саиди «отчитываться», чему тот был рад. Вообще, чем больше Эхсан жаловался на Насырова, тем милее он становился Саиди, и Саиди начинал надеяться, что ему удастся привлечь Эхсана в ряды своих единомышленников. Он желал Насырову победы, потому что надеялся, что тогда Эхсан рад будет принять руку помощи от любого человека, хотя бы от Аббасхана...

— Я ничуть не стремлюсь занять его место, — говорил Эхсан о Насырове. — Я хочу вести научную работу. Горком дал мне эту возможность. Я прошу только, чтобы Насыров мне не мешал. Но почему-то каждый, кто узнает о наших конфликтах, думает, что это драка за престол. Я даже Шарифу до сих пор ничего не говорил, чтобы он не подумал то же самое... К сожалению, в отделе у нас нет крепкого партийного ядра. Есть один врач, кандидат партии Мирзакарим. Он странный человек. Стоит только кому-нибудь начать речь: «Под руководством партии», — а кончить: «Да здравствует!» — он сразу аплодирует, — даже если середина речи — контрреволюционная. В отделе есть люди, которые к нему подлаживаются, льстят ему; но честные работники стараются быть подальше, потому что он груб и невоспитан. Насыров изучил его хорошо, взял его в руки и многие свои делишки обделывает с его помощью. А этот тупица рад, воображает, что Насыров ничего не делает без его ведома. Машинистки от него плачут — он постоянно выясняет их социальное происхождение. Некоторые действия Насырова мне даже непонятны — это непохоже на карьеризм. Когда профессор, о котором я рассказывал, хотел обработать материал, собранный за десять лет, он не допустил этого. Причем не сам запретил, а натравил на него Мирзакарима, сказав: «Профессор — беспартийный. Лучше бы поручить этот драгоценный материал нашему партийному человеку». Сколько обид нанес Мирзакарим профессору! Он сам мне об этом рассказывал. А когда я стал ему выговаривать, он ответил: «Ты подпал под влияние старых специалистов». Говорят, сейчас он выясняет мое социальное происхождение. Я молчу. Только иногда поддразниваю его. Вот если бы он пошел на меня жаловаться в горком, тогда я бы всё рассказал о нем...

Начало светать. Утренняя прохлада вливалась в раскрытое окно. Шелестели листья на деревьях. На востоке небо стало розовым. Всюду тишина. Время крепкого сладкого сна.

— Нынче я перед вами отчитывался, — сказал Эхсан, закрывая глаза, — а когда мы вас слушаем?

— Теперь уж только и будем делать, что слушать друг друга, — сказал Саиди, гася свет.

XVI

— Рахимджан, — сказал утром за чаем Эхсан, — что же ваша жена не показывается? Неужели она стесняется меня?

Сорахон привыкла прятаться от незнакомых мужчин, но если бы она и не закрывалась, Саиди было бы стыдно показать ее Эхсану. Он отговорился.

— Она вчера уехала в кишлак...

— А фотографии ее нет у вас?

Слава богу, Сорахон ни разу в жизни не снималась. Увидев ее, Эхсан, наверное, удивился бы. Саиди сделал вид, что не слышал вопроса, и заговорил о другом.

— Я подумал вот о чем: нельзя ли о Насырове напечатать фельетон в газете?

— Нельзя... — сказал Эхсан, но не успел объяснить — почему, как вошел Мурадходжа-домла.

Домла вчера не выходил к гостю, хотя Саиди и сказал ему, что это тот врач, который учился в Москве и вернулся, закончив институт.

— Милости просим, милости просим... — говорил домла, сердечно приветствуя гостя. — Извините, что я вчера к вам не вышел, было поздно, и я не хотел вас беспокоить.

Домла долго говорил о восточной медицине, о знаменитых ее деятелях в древности, заявил что, современная медицина отстала, по крайней мере, на пятьсот лет от того, что было известно еще во времена Авиценны, и что самой важной областью современной медицины является ветеринария, а самой незначительной — лечение зубов. Эхсан понаслышке знал о Мурадходже и его болтливости, но беседовать с ним еще не приходилось. Теперь, чувствуя, что его трудно остановить, Эхсан не возражал и собрался уходить, как только тот умолк.

— Рахимджан мне давно уже о вас рассказывал, — сказал домла, вставая. — И я все мечтал вас увидеть. Но, к сожалению, вы торопитесь. Надеюсь, что теперь вы часто будете нас навещать. У меня есть древние книги по медицине... Да, кстати: у нас в доме есть больная. Может быть, вы ее посмотрите?

Эхсан согласился. Они вышли во двор. Домла сделал знак Саиди, чтобы он проводил Эхсана, а сам взял решето с зерном и стал кормить кур.

Тупа лежала под лестницей в подвале, где зимой разжигали самовар. Саиди с Эхсаном спустились в подвал. Там было сыро, пахло гнилыми дынными корками. Тупа лежала на кровати под одеялом. Услышав, что кто-то вошел, она открыла глаза и попыталась встать.

— Не двигайтесь, не вставайте!— сказал Эхсан.

Тупа виновато посмотрела на Саиди, словно спрашивала: что же ей делать?

— Это доктор. Скажите ему, что у вас болит,— объяснил Саиди.

Запавшие глаза Тупы широко раскрылись: а вдруг домла будет ее бранить за это? Она вся задрожала.

Эхсан ласково стал расспрашивать ее и взял за руку. Тупа опять испуганно поглядела на Саиди.

— Мой бек...— сказала она робко.

— Не бойтесь, чего вы боитесь?— сказал Эхсан.— Я хочу узнать, чем вы больны, выпишу вам лекарство, вы поправитесь... Так где же у вас болит?

Саиди подтвердил слова Эхсана, тогда страх понемногу стал оставлять Тупу.

В это время домла позвал Саиди. Оставшись одна с Эхсаном, Тупа стала отвечать на его вопросы.

— Дышать так тяжело, как будто в груди свинец... И рвет меня, изжога все время...

— А голова болит?

— И голова болит. Все тело болит...

— Ну что ж, болезнь вашу можно вылечить. Только, если будете тут валяться, не поправитесь. Надо в больницу. В больнице вас скоро вылечат.

— Хозяин знает... как скажут, так и будет...

Когда Эхсан вышел из подвала, домла спросил небрежно:

— Ну, как? Поправится она?

Эхсан не ответил ему, подошел к Саиди и спросил, не подымая глаз:

— Кто эта женщина?

— Служанка,— отвечал, несколько смутясь, Саиди.

Тут подошел домла.

— Ну что, братец? Будет она жить?

— Будет жить. Что с ней надо делать — я скажу Рахимджану. До свидания! Будьте здоровы!

Саиди пошел его проводить. Когда они вышли на улицу, Эхсан спросил:

— Служанка... это значит — работница? Почему же вы довели ее до такого состояния?

— Мы не знали, что с ней...

— Надо было отправить ее в больницу! Нельзя ее так оставить, надо обязательно отправить в больницу... Нехорошо, Рахимджан!

— Я и сам хотел это сделать... Ну, а когда же мы опять встретимся?

Но Эхсан, не отвечая, попрощался и ушел.

Когда Саиди вернулся, домла стоял посреди двора и ножичком чистил ногти. Он спросил, что сказал врач. Саиди передал ему, что говорил Эхсан.

— Что же у нее за болезнь? — спросил домла и, сложив ножичек, сунул его в карман.

— Говорит: болезнь желудка.

— И из-за этого — в больницу?! Дурак он! Просто не понял ничего и хочет сплавить ее в больницу — пусть там лечат... Если желудок не в порядке, надо давать уксус — и все. — Бранясь, он ушел в дом. За ним пошел к себе и Саиди. Теща в это время заплетала волосы Сорахон. Домла стал жаловаться на врача, но Сорахон перебила его:

— Ну и пусть отправляет в больницу. А то она еще умрет, — я тогда буду бояться выходить во двор.

— Дело не в том, что ты будешь бояться. Сколько хлопот будет с похоронами, сколько лишних трат! — сказал Саиди.

— Если и не умрет, а болезнь затянется, — тогда что? В любом случае лучше отправить в больницу. Поправится — так оттуда сама придет, а умрет — оттуда и похоронят, — сказала «сладкоголосый соловей».

— Рахимджан, — сказал домла, — хоть этот наш доктор и не блещет умом, все-таки чему-то он обучался, что-то он понимает в болезнях. Ладно уж, отправим Тупу в больницу. Может быть, ей, рабе божьей, бог пошлет избавление. Наш долг — делать добро ближнему, во имя Мухаммеда... Так и сделайте — отправьте ее в больницу. Нынче ей, кажется, хуже стало, утром ее так рвало...

XVII

Саиди спускался по лестнице своего нового дома, когда во двор вбежали с улицы два соседских мальчика и сообщили, что у ворот стоит извозчик. Так как гостей в этот день не ждали, то домла сделал знак Саиди: «Выйдите, посмотрите, кто там». Саиди побежал к воротам, домла пошел за ним. Извозчик вынул из коляски тюк, заверну-

тый в шерстяное одеяло и перевязанный веревкой, и ждал, пока вылезет женщина в парандже. Саиди тотчас узнал свою сестру. Она была одна, без детей. Саиди подбежал к коляске. Увидев его, сестра зарыдала и обняла его. Саиди ужаснулся. До чего же она похудала!

— Не плачь, не плачь! А где же дети?

— Он мне не отдал их... — сказала она, достала костыли, лежавшие наверху, и попыталась встать.

Саиди испугался еще больше, оглядел сестру. Ноги были целы. Когда в последний раз Саиди ездил к Мухаммедраджабу, у нее болели ноги, но до костылей тогда дело не доходило. Саиди взял у сестры костыли, отдал их одному из мальчиков, поднял сестру на руки и понес в дом. Шедший им навстречу домла застонал от досады, но хоть и с трудом, постарался встретить гостью приветливо.

Все уже догадывались, почему приехала эта женщина: Мухаммедраджаб развелся с ней. Домла сам растелил палас на супе посреди двора, усадил гостью и сказал Саиди: «Почему же вы не сообщили о приезде? Я бы сам встретил женщину». Увидев неожиданно явившуюся «дармоедку», «сладкоголосый соловей» побледнела и, дрожа от возмущения, стала проклинать Мухаммедраджаба. Подошла Сорахон и тоже стала вторить матери, делая вид, что сочувствует горю бедной женщины.

— Я не собиралась ехать этим поездом, — сказала гостья, — но дядя Хайдар-хаджи должен был поехать в Ош и отправил меня. Он дал письмо для вас. — Она вытащила письмо, завязанное в уголок платка, и протянула его домле.

Домла прочитал письмо и отдал его Саиди. Вот что писал Хайдар-хаджи о Мухаммедраджабе:

«...Он продал лошадей, выручил семь тысяч шестьсот восемьдесят три рубля и открыл свое дело, отделившись от меня. Это, конечно, нечестно с его стороны, но вы знаете, что с ним надо поддерживать хорошие отношения, и потому не следует Рахимджану вмешиваться в их семейные дела. Скажите Рахимджану, что как бы ни тяжела была для его сестры разлука с детьми, пусть потерпит, так как я, лишь только вернется Мухтархан, буду с его помощью хлопотать о передаче детей ей. Мухтархан должен был приехать тринадцатого числа: сегодня уже двадцать седьмое, но до сих пор от него нет никаких вестей. И писем тоже он давно не пишет. Обычно он не оставлял нас так долго без писем. Очень беспокоюсь...»

— Ничего, не расстраивайтесь, доченька, — протягивая гостье свою пиалу с чаем, сказал домла. — Найи

дом — ваш дом. Живите спокойно. И брат ваш — рядом с вами. Бог даст, поправитесь.

Пообещав отобрать у Мухаммедраджаба детей и найти для гостыи хорошего врача, домла встал.

— Теперь отдыхайте, вы устали с дороги. Сорахон, полей-ка двор!

Домла ушел в дом и через некоторое время позвал Саиди.

— Ваша сестра — человек нежный и чувствительный. Нехорошо, если она узнает, что в доме уже есть больная. Надо поскорее сплавить Тупу в больницу. Сестра ваша еще больше расстроится, если узнает...

— Что же, прямо сейчас отвезти Тупу?

— Ну, не сейчас, можно и через часок. Астана пойдет с вами.

Саиди согласился и вернулся к сестре. Когда он сел возле нее, она стала говорить:

— Ладно уж, братец... Ты не ссорься с бессовестным человеком. Может быть, он еще опомнится... И я к тому времени, может быть, поправлюсь. Бог послал болезнь, бог и пошлет избавление... Вот только без детей тяжело... — Она заплакала. — Но иногда я буду просить тебя, и ты свезешь меня повидаться с ними... хоть посмотрю на них... Мне нужно только поправиться. Ты купи мне в базарный день немножко конского мозга. Я буду сидеть на солнышке и патирать себе ноги. Я обязательно вылечусь. Вижу я теперь уже лучше...

— Конечно, ты поправишься. Я позову к тебе врача.

Сестра вытерла слезы концом платка.

— И не выдумывай тратиться на меня! Я и так поправлюсь... Будет мне полегче, — и в нем заговорит совесть...

— В ком? Ты что — опять хочешь к нему вернуться?

— А что же мне делать? Разве я могу долго жить в твоём доме? В каждой семье своих забот достаточно.

Саиди засмеялся. Он мог бы прокормить не одну сестру, а десять, если б понадобилось.

— Из-за чего же вы поссорились?

— Да и ссоры особенной не было. Все началось с того времени, когда ты приезжал за деньгами, которые дал ему в долг. Он тогда очень хлопотал, чтобы отделиться от Хайдара-хаджи и открыть свою лавку. Ну, он и не отдал тебе прибыль с твоих денег. Я его спросила, почему не дал, а он меня побил. Потом он отделился, открыл

свою лавку, дела пошли хорошо. Каждый день у него гости... Гости приводят женщин. А я всем должна прислуживать. Грязь... пьянство... Как-то в кухне на рассвете я и не заметила, как задремала, сидя у очага. Он пришел за чаем, а я не услышала. Тогда он меня ударил ногой несколько раз. Ради детей я все вытерпела — простила. Потом у меня разболелась нога, я совсем не могла ходить. Тогда он меня бросил. С утра до ночи сижу голодная. Он вечером придет, даже не спросит, как я, прямо проходит в свою комнату. Всю еду, все запасы запер в сундук. Мне сказали, что он хотел меня известить, потому что собрался жениться на дочери одного медника. Однажды он сильно поругался с Хайдаром-хаджи, чего-чего только не наговорил ему. А тот — бедный — промолчал, оказался хорошим человеком... С тех пор, как у Мухаммедраджаба деньги завелись, он точно сбесился. Когда он мне дал свидетельство о разводе, я хотела пойти в махаллю и все о нем рассказать, опозорить его перед людьми. А Хайдар-хаджи не пустил меня. Сказал: «Если его посадят, вам с детьми еще хуже будет».

Вошел Мурадходжа-домла.

— Придется завтра отвезти Тупу, сегодня уже не успею, — сказал Саиди домле и стал объяснять сестре, кто такая Тупа, чем больна и почему домла считает нужным отправить ее в больницу.

В это время появилась женщина в белом халате и сказала, что в доме есть больная и она пришла за ней. Домла сначала перепугался, но узнав, что за больной прислал Эхсан, обрадовался. Вошли двое мужчин с носилками и унесли Тупу. Когда ее вносили в машину, домла очень старался помочь, хоть и не нужно было.

Пока Саиди и домла были на улице, гостья, оставшись одна, встала и хотела пройти в сад. Она спустилась с супы, ступила на костылях несколько шагов, споткнулась и упала прямо на цветы, росшие около супы. Видевшая это Сорахон закричала: «Ой, пропали наши цветочки!» Немедленно прибежала хозяйка.

— Что случилось, сестричка? — спросила она издали.

— Ах, чтоб мне умереть! — сказала гостья, подымаясь с трудом. — Я споткнулась обо что-то...

Глаза хозяйки сразу увидели валявшийся кувшин для умывания: носик у него был отбит. Со злостью поставила она кувшин на место, вернулась к очагу и, накладывая на блюдо еду, ворчала: «Чтоб ее бог забрал с ее куриной слепотой!»

Необходимо было пробить брешь в такой неприступной крепости, как городской комитет партии. И ставка была сделана на Эхсана, друга Шарифа. Все заинтересованные в этой операции внимательно следили за взаимоотношениями между Эхсаном и Насыровым. С нетерпением ждали скандала. Если скандал разразится, возможно, Эхсан потерпит поражение, тогда, естественно, он будет искать помощи. Протянуть ему в трудную минуту руку значило бы перетянуть его к себе. А чтобы рука эта была достойной, чтобы она не испугала его, а обрадовала, нужно уже теперь сделать так, чтобы ему было ясно, что его окружают доброжелатели, свои люди, сочувствующие его начинаниям. Но для того, чтобы ему посочувствовать, надо было, чтобы он пожаловался. Сам пришел и пожаловался. Не мог же кто-то идти к нему и вынуждать его жаловаться. Тут мог помочь только Саиди, и он стал все чаще посещать Эхсана.

Посещения Эхсана не приносили Саиди ни удовлетворения, ни даже надежды на успех его миссии. Он скучал, когда Эхсан рассказывал ему о своей работе, а когда заходил разговор о литературе, Саиди со страхом ждал вопроса: «А что же ты написал за эти годы?»

Приезд сестры Саиди принес Мурадходже-домле лишние хлопоты. Он не хотел, чтобы Саиди вызывал к ней городских врачей, боялся лишних трат, наставлял, чтобы Саиди показал сестру Эхсану: «Пусть тот выпишет лекарства, а уж если и лекарства не помогут, значит, божья воля».

Саиди не хотелось обращаться к Эхсану. Но домла как-то стал его стыдить при сестре за его «невнимательность и жестокость». И Саиди в тот же вечер пошел просить Эхсана осмотреть больную.

Он застал Эхсана в непривычно мрачном настроении, которое он безуспешно пытался скрыть от Саиди. Саиди это почувствовал. Тогда, чтобы Саиди не подумал, что хозяин не рад гостю, Эхсан рассказал ему, что вызвало у него дурное настроение. Оказывается, Мирзакарим, который постоянно доводил до слез машинисток, проверяя их социальное происхождение, на одном из собраний обвинил Эхсана в «дружеской связи со старым профессором, представителем буржуазной идеологии». Хотя целью Мирзакарима было очернить Эхсана, но о профессоре Светлове он говорил как о вредном человеке, чуть ли не преступнике. А между тем все в отделе хорошо

знали, что профессор — честный и добрый человек, который работает, не жалея себя, отдавая все силы своему делу. Эхсан был так расстроен после недавнего разговора с профессором, что не захотел рассказывать Саиди всего и, чтобы немного рассеяться, переменял разговор.

— Ну, рассказывайте, что у вас, Рахимджан... Кстати, вы навещаете вашу работницу в больнице?

— Да, справляемся... — солгал Саиди.

Эхсан показал Саиди книжку, лежавшую на столе.

— Вы это видели? Уже второе издание.

Это был сборник стихов Кенджи. На титульном листе Саиди прочел надпись: «Мой друг Эхсан! Мы трудимся по-разному, но во имя одной цели».

Саиди полистал книжку. В стихотворении «Сказки о прошлом» были подчеркнуты строчки:

От колыбели до могилы — пустая степь.

И путь его — лишь бед и горя тяжкая цепь.

— Это вы подчеркнули?

— Я. По-моему, он здесь покривил душой ради музыкального ритма, ради внешней красоты стиха.

— Кенджа — неплохой поэт, — сказал Саиди, — но он совсем не выносит критики. Он, например, не признает одного из самых опытных и знающих наших критиков — Аббасхана, говорит о нем всегда в оскорбительном тоне. Вообще Кенджа у всех ищет грязь под ногтями...

Саиди не нравилось то, что Кенджа говорил об Аббасхане, а Эхсану сейчас очень не понравилось то, что Саиди сказал о Кендже. А так как Эхсан в эту минуту был очень возбужден, он не удержался и сказал резко:

— Не вижу ничего особенно ценного в вашем Аббасхане... Читал его статьи. В одной из них он утверждал, что классическая литература сильна только тем, что показывала отрицательные явления действительности. Как будто сила искусства только в этом?

— Но ведь верно, что многие великие произведения созданы на основе отрицательных фактов.

— Вы думаете, что сила этих произведений в самом показе отрицательных фактов? А ради чего они показаны? Конечно, в те далекие времена действительность была полна таких фактов. Великие писатели показывали их и объясняли, чтобы люди стремились к иному, поверили в возможность иной жизни. Ведь для того, чтобы делать что-то в жизни, надо верить в свое дело, в его победу. А ваш Аббасхан сам не верит ни во что и мешает другим верить.

Саиди подумал, что Аббасхан, наверное, сумел бы возразить Эхсану, и сказал насмешливо:

— В своей области Аббасхан владеет большими знаниями... Конечно, он не стал бы спорить о медицине...

Эхсан понял намек и рассердился.

— Если бы ко мне пришел больной и стал жаловаться на отсутствие аппетита, а я бы начал ему резать нос,— думаю, что, и не будучи врачом, вы поняли бы, что я поступаю неправильно! Для того, чтобы судить об этом, не надо обязательно учиться пять лет в университете!

Эти слова задели Саиди сильнее, чем хотел Эхсан. Он тоже не смог сдержаться и спросил:

— Это Кенджа вам все так хорошо разъяснил?

— Напрасно вы так думаете,— ответил Эхсан, побледнев от обиды.

— По-моему, если бы Кенджа слушался Аббасхана, его талант очистился бы от зазнайства и всякой ерунды.

— А ваш талант Аббасхан обрабатывал?

— Конечно!— сказал Саиди.

Эхсан громко расхохотался. Может быть, смех этот был даже немного деланный. Эхсан оборвал его и сказал тихо:

— Вы когда-нибудь пытались оглянуться на себя, на свой путь? Куда девался ваш талант, Рахимджан?! Кто позавидует ему теперь, кто порадуетя на него? Обработанный такими учителями, как Аббасхан и Салимхан, он теперь валяется, как старая арба, на дворе у Мурадходжа-домлы!

Саиди ничего не ответил, но подумал про себя: «Когда-нибудь ты еще узнаешь, что я делал в эти годы...»

Оба замолчали. Саиди собрался уходить, еще надеясь, что Эхсан удержит его. Но Эхсан молчал. Саиди вышел и тихо прикрыл за собой дверь.

XIX

Из всей семьи только один Мурадходжа-домла, хоть и натянуто, но все же выказывал участие сестре Саиди. Через месяц и он потерял терпение, Саиди теперь уже не мог позвать к больной Эхсана. Узнав о последнем разговоре Саиди с Эхсаном, Аббасхан решительно запретил Саиди встречаться с ним. А другого врача Саиди не удостоился найти.

Домла как-то сказал при больной: «Бог воздаст каждому по его нраву». Она промолчала, глядя в землю, но потом плакала в уголке весь день. Узнав про ее слезы,

домла строго произнес: «Ваши слезы ни к чему. Они только мешают делом заниматься. В моем доме прошу не плакать!» С тех пор, встречая домлу, женщина старалась улыбаться. Но это тоже не понравилось домле. «С чего это вы радуетесь? Кажется, нечему радоваться человеку, который потерял детей и ног лишился...» Конечно, все это говорилось не при Саиди. А сестра не жаловалась брату, боясь испортить и без того трудные отношения в семье, и терпела все молча.

Когда же семейные неурядицы в доме Мурадходжидомлы дошли до того, что домла стал жаловаться друзьям, Аббасхан испугался, как бы отношения между домлой и Саиди окончательно не испортились, это было бы нежелательным для всех. Пока Аббасхан придумывал, как бы исправить создавшееся положение, стало известно, что грозит еще большая опасность. Прошел слух, что ожидаются перемены в редакции газеты, где работал Саиди. Оказывается, секретарь горкома Шариф сказал редактору: «Вы плохо, очень плохо освещаете пятилетку». И Аббасхан отлично понимал, что это значило.

Чтобы предотвратить эту двойную опасность, Аббасхан решил поговорить с домлой.

— Мы с Салимханом хотим направить Саиди на работу в один из центральных журналов. Думаю, что вы согласитесь с нами.

Домла вздрогнул.

— Но почему?

— Дело в том, что в редакции газеты ожидаются большие перемены. Я не сомневаюсь, что это коснется и Саиди. А если палка одним концом ударит его, другой конец заденет и вас. И это закроет Рахимджану все пути как писателю. Вот если бы он уехал сейчас со всей семьей и сестру взял бы с собой... это было бы неплохо для всех... и для вас тоже.

Домла задумался.

Он не мог согласиться не только на отъезд Саиди в другой город, но даже на то, чтобы разделить и жить на два дома: ведь это было бы равносильно тому, чтобы самому зарезать дойную корову. А то, что Аббасхан так заботился об отъезде Саиди, заставило домлу подозревать, что за этим что-то кроется, что кто-то заинтересован в этом.

Домла волновался не даром: он до сих пор не был уверен, что Саиди окончательно разлюбил Мунисхон; он знал также, что Мунисхон часто плачет и жалуется под-

ругам, что не любит Мухтархана, к тому же Мухтархан, выполняя опасное задание на границе с Афганистаном, пропал без вести. Во всяком случае, даже Хайдар-хаджи, обычно веривший в изворотливость и ловкость Мухтархана, теперь пишет мрачные письма. Сопоставив все это, домла решил, что предложение Аббасхана выгодно только одному Салимхану. Он сказал, глядя в сторону:

— Ладно, поживем — увидим... Не в газете, так еще где-нибудь будет работать... Найдется работа... Зачем ему тащиться куда-то со всей семьей... мучиться?

— Он тут пропадет. Для него закроются все пути к творчеству.

— А много ли он сделал, когда все пути для него были открыты? Вон он ходил, ходил к Эхсану, а какая польза?

— Рахимджан не виноват, что так вышло. Если бы горком партии стал на сторону Насырова, может быть, что-нибудь и вышло у нас с Эхсаном. Но горком поддержал Эхсана, а дело Насырова передано теперь в контрольную комиссию. Говорят, Шариф даже упрекнул Эхсана: «Зачем поделикатничал? Почему не сказал нам раньше?» Вы же знаете, что Эхсан думает про вас, — как же вы хотите, чтоб он дружил с вашим зятем, с человеком, который живет в вашем доме?..

А домла думал про себя: «Ах, сукин сын, наверное, Салимхан что-то пообещал тебе...» И разговор дошел бы до ссоры, если б в этот момент не явился Саиди с тревожным известием. Он был бледен и задыхался.

— Началось! — едва выговорил он.

— Что? — испугался домла.

Саиди вытащил из журнала, который принес с собой, листок и протянул Аббасхану. На листке было написано корявыми буквами новым алфавитом заявление. Аббасхан не мог его разобрать, а домла вообще не знал нового алфавита, поэтому они слушали, как Саиди читал:

-- «Статья в газету.

Прошу напечатать это мое заявление в газету. Сообщаю, что судья Ибрагимов несправедливо заключен в тюрьму. Он не требовал у меня взятки и не понуждал ни к чему плохому, не говорил никаких стыдных слов. А все это делал чуждый элемент по имени Мирза Мухитдин. Он и научил меня сказать неправду про судью Ибрагимова. А я подтверждаю, что это была неправда, потому что я сама кандидат партии и рабочий человек. Так как товарищ Ибрагимов ни в чем не виноват, то пусть

его освободят из тюрьмы, а в газете пусть напишут про чуждый элемент — Мирзу Мухитдина. Я — работница шелкомотальной фабрики Мавлянкулова. Мой муж — штукатур — находится в тюрьме тоже по обвинению во взяточничестве, когда был председателем махаллинской комиссии... Товарищ Ибрагимов сидит в тюрьме в связи с его делом, о чем я и сообщаю. Если есть ошибки, прошу исправить и напечатать. Мавлянкулова».

Аббасхан, бледный, смотрел на домлу. А домла, хоть и знал, в чем дело, так растерялся, что стал спрашивать:

— Кто это? Что за женщина?

Аббасхан только рукой махнул: «Пропали!»

— Как это случилось? Она сама пришла? Что она сказала? А вы что? — спрашивал он Саиди.

— Она сама пришла. Я сначала ее даже не узнал — она стала совсем другая, бойкая такая, никому слова не дает сказать. Рассказала, как Мирза Мухитдин ее обманул и заставил дать ложные показания. Я ей сказал: «Вы об этом не говорите никому, пока не напечатаем в газете». А она говорит: «Нет, я хочу все рассказать Шарифу-ака, я уже к нему ходила, но он уехал в кишлак». Ушла и сказала, что придет опять в воскресенье.

Надо было что-то предпринимать, и Аббасхан взглянул на домлу. Но домла больше всего был озабочен, как бы не отправили Саиди в центр, и стал браниться:

— Вот и тогда вы это все придумали... Я и тогда был несогласен, но молчал, чтобы вас не обидеть... А теперь вот вы хотите послать Рахимджана в центр — это тоже неверно...

— Ах, да делайте, как хотите! — рассердился Аббасхан. — Сейчас надо думать, что предпринять...

Саиди пошел за Салимханом. Тот тоже смутился, узнав, как обстоит дело. Вызванный срочно Мирза Мухитдин сказал, что через суд теперь уж ничего не добьешься. Прикидывали-придумывали, ни до чего не могли договориться. Только на другой день, обсуждая вопрос на более широком совещании, нашли выход: через отдел народного образования постараться отправить Мавлянкулову на учебу. А обо всем случившемся сообщить в центральный комитет организации.

XX

Надо было поторопиться, чтобы Мавлянкуловой уже не было в городе, когда вернется Шариф.

На другой день Салимхан вызвал ее к себе и долго с ней говорил. Он был так приветлив, наговорил столько приятных слов, что Мавлянкулова могла бы заподозрить его в каких-то «нечистых намерениях», если бы он не сказал под конец: «Если вы согласны, я сейчас же оформлю документы, вы получите деньги и завтра же сможете уехать». Мавлянкулова, конечно, обрадовалась такому предложению, но ее беспокоило, что же будет со статьей, отданной в газету.

— Нельзя ли мне уехать, когда вернется Шарифака? Дело ведь такое запутанное... боюсь, что без меня ничего не выяснится... Только я одна могу все объяснить.

— Когда статью напечатают, Шарифака ее прочтет и все поймет, а если не поймет чего-то, потребует, чтобы ему разъяснили. Нет, уж вы не откладывайте отъезд.

— Может быть, мне добавить к статье еще и заявление на имя Шарифака?

— Можно и так. Но, по-моему, вам теперь следует думать больше об учебе, чем об этом давнем деле... Говорят, ваш муж скоро будет освобожден... чего же вам беспокоиться?

— Ой, как же вы не понимаете?! Я столько пережила, когда Мавлянкулова несправедливо засудили, так бедствовала, столько ходила по судам, просила помощи, а надо мной издевались; обвиняли мужа бог знает в чем... Да как же я могу оставить в покое тех людей, которые занимались такими черными делами и позорили наш советский суд?! Ведь я теперь кандидат в члены партии, я должна...

Салимхан мягко прервал ее:

— Конечно, конечно, нельзя это так оставить. Но поймите меня: я должен направить на учебу лучших работников с производства. Я обследовал все предприятия города, заводы и фабрики, искал достойных. И вот нашел вас. Остается всего три-четыре дня до начала занятий. Если вы опоздаете, ваше место будет занято другой женщиной...

— А напечатают ли мою статью? И когда это будет?

— Ну, если уж тогда напечатали ваше устное заявление, как же теперь не напечатают статью? Тогда ваше заявление скоро напечатали?

— На второй же день.

— Значит, и эта статья скоро появится. Могут, конечно, и задержать, если будет другой какой-нибудь срочный материал. Я вот тоже сдал им статью, прошло семнадцать дней, а еще не напечатали.

— Может быть, мне ее взять из газеты и отнести к Шарифу-ака домой?

— Можно и так. Но лучше, чтобы ее напечатали в газете. Шариф-ака может прочесть и не обратить внимания, а уж в газете прочтет обязательно. В газете она произведет впечатление. Оставьте ее в редакции. И поезжайте спокойно. А когда статья появится в газете, вот тогда напишете письмо Шарифу-ака и все объясните подробно.

И Мавлянкулова согласилась с этими доводами.

Дней через десять после отъезда Мавлянкуловой Муррадходжа-домла прочел утром в центральной газете такое сообщение в отделе происшествий:

«Вчера вечером на реке, в шести километрах от гидростанции между третьей и четвертой пристанями моторная лодка обнаружила прибитую к берегу пустую весельную лодку. На лодке найдены следы крови. В результате расследования стало известно следующее: лодка номер 27 взята была напрокат в пять часов двумя женщинами — Зарифой Юлдашевой и Турсуной Мавлянкуловой. По документам, оставленным при найме лодки, обе они — студентки рабфака, поступившие в этом году».

Домла вскочил и, как был — в нижнем белье, побежал к Санди. Он столкнулся с ним на пороге. У Санди в руках тоже была газета, он был очень взволнован.

— Читали? — спросил домла.

У Санди дрожали губы, глаза были полны слез. Он отвернулся и вытер их. Домла удивился.

— Вы что — близки с ней были?

Санди молча повернулся и ушел в свою комнату. Домла разозлился и пошел за ним следом.

— Вы, вы во всем виноваты! — сказал Санди со слезами. — Если бы я ушел из редакции вовремя, когда Аббасхан предупреждал, не было бы столько шума. Никто не стал бы копаться в моем прошлом. А теперь вот что...

— Да о чем вы говорите, Рахимджан?

— А вы о чем?

Домла показал ему заметку, а сам стал читать большую статью, указанную Санди. Статья занимала два газетных подвала, и в ней все время упоминались имена Санди, Якубджана и редактора областной газеты. Домла понял, о чем идет речь, и весь покрылся холодным потом.

Если бы домла знал, что дело дойдет до этого, он согласился бы отправить Санди куда угодно, хоть на край

света. Статья подробно и глубоко анализировала причины того, почему областная газета не освещает такой важный политический вопрос, как пятилетний план.

XXI

Саиди, как и предсказывал Аббасхан, был уволен из редакции с дурной характеристикой. Пришлось ему оставить вечернюю школу и все курсы, где он преподавал. Он либо подавал заявление об уходе, либо просто не являлся больше. И никто его не искал.

Мурадходжа-домла, конечно, ужасался такому сокращению доходов, но возражать не посмел. Переводами Саиди зарабатывал вдвое меньше, и потому домла с каждым днем становился с ним все грубее. Тяжелее всего это отразилось на сестре Саиди.

С первого же дня, как приехала, она решила твердо, что не будет причиной домашних ссор брата с невесткой, и стала пытаться заработать себе на кусок хлеба. Но ее преследовали неудачи. По секрету от брата она купила шелку, чтобы вышивать тюбетейки, и нечаянно пролила на него лиловые чернила; из уцелевшего шелка вышила тюбетейку, но когда соседка понесла ее на базар, за нее не дали даже той цены, что была затрачена на материал. Искуснее вышивать она не могла — у нее болели глаза, она слепла. На долю ее выпадало теперь много неприятностей — и об этом скоро узнал Саиди.

Однажды Саиди, окончив принесенный домлой перевод, вышел во двор и услышал в саду визгливый голос «сладкоголосого соловья», потом грохот упавшей откуда-то жестяной посуды. Хотя у Саиди не было ни малейшего желания видеть тещу в дурном настроении — он знал, как синее ее лицо, как бледнеют уши, когда она гневается, — но все же пошел в сад. У самой калитки теща, как ящерица, проскользнула мимо него и скрылась в доме. В саду Саиди нашел сестру у арыка, она сидела на траве и оттирала тряпкой сажу с рук.

— Что тут случилось?

Она вздрогнула, услышав вопрос брата, часто моргая, старалась скрыть слезы и взглянула на брата с вымученной улыбкой.

— Ничего...

— Что она тебе наговорила? Это она тебя бранила?

— Нет, как можно...

Тут Саиди увидел лежавшую рядом закопченную кастрюлю.

— Что это такое?

— Да это просто так... — пролепетала сестра, берясь за нож.

— Да скажи, наконец, что случилось?

— Ничего не случилось, ей-богу, ничего...

— Зачем же ты сидишь тут?

— Хотела почистить кастрюльку... нельзя же сидеть без дела... дай, думаю, почищу... а она, оказывается, дырявая...

Саиди сразу понял: сестра, желая почистить кастрюлю, счистила нечаянно полуду с дырявой кастрюли.

— Зачем тебе надо было за это браться? — сказал он с раздражением. — Не можешь ты сидеть спокойно... Кто тебя просит делать грязную работу? Тут сыро — ногам твоим станет хуже.

Сестра вытирала нож грязной тряпкой и думала: «Ах, братец, ничего-то ты не знаешь! Если б я посмела сидеть спокойно, они тебе не дали бы покоя. Они из меня, больной, высосали все силы, и у тебя в чем душа держится...»

Стуча костылями, сестра ушла в дом. Саиди хотел пойти за ней, но подумал, что, встретиться ему сейчас «сладкоголосый соловей», он не удержится, наговорит ей чего-нибудь, начнется ссора... Он пошел в сад и до сумерек бродил под деревьями.

Когда он вернулся в дом, Сорахон сидела на новой террасе и выжимала сок из усьмы.

— Пропави все пропадом! — закричала она, увидев мужа, и отодвинула пиалу. — Не хочу я больше жить здесь! Не могу жить с отцом-матерью! Увезите меня отсюда!

Мурадходжа-домла еще неделю назад научил ее скзать это Саиди, когда у него будет хорошее настроение, но Сорахон только сейчас вспомнила об отцовском наказе. Саиди же вообразил, услышав ее слова, что она знает, как мать угретает его сестру, и ей жалко одинокую больную женщину.

— Ладно, не расстраивайся... купим дом и уедем, может быть... — попытался успокоить он ее.

Мурадходжа-домла понимал, что извлек из Саиди все, что можно было. Ни настоящее, ни будущее Саиди не сулило теперь ничего хорошего. Высосав сок, надо было выплюнуть и кожицу. И вот он придумал отделить Саиди и выселить его из своего дома. А после того, как он это сделает, можно будет и дочь развести с ним. Но раз-

вод должен быть с согласия обоих, чтобы не было ни шу-му, ни обид, ни неприятностей — нельзя портить отношения с Саиди — он слишком много знал. Домла готов, если понадобится, даже расхваливать Саиди Мунисхон: «Писателю нужна ученая жена — такая, как Мунисхон». В крайнем случае, он готов даже объявить душевнобольной свою дочь.

Думая о том, как избавиться от Саиди, домла строил разные планы. Надо, чтобы Саиди достал тысячу рублей, купил дом. Дом надо записать на имя Сорахон. Когда Саиди узнает, что Мухтархан арестован, он, конечно, постарается вновь сблизиться с Мунисхон. Пока она не знает, что муж арестован, а если узнает, — озолотит того, кто ей принесет такую весть...

— Интересно, твои родители согласятся, чтобы мы отделились от них? — спросил Саиди Сорахон.

Она побоялась сказать, что родители только и ждут этого, пробормотала:

— А какое нам дело до них? Как хотим, так и живем!

— Все-таки ты бы поговорила с ними, узнала их мнение.

— Вы думаете, они будут возражать? — спросила Сорахон, скривив губы.

Можно было подумать, что она готова на все, но Саиди не был уверен, что домла так легко согласится. Скоро, однако, выяснилось, что Сорахон права. Как-то вечером домла пришел домой очень веселый и сказал, что в ближнем квартале продается дом.

— И недорого, — пояснил домла, — семьсот пятьдесят рублей. Если истратить на ремонт рублей триста, получится вполне приличное пристанище. Надо покупать этот дом — как-никак имущество. Все так непрочно в наше время... Сегодня вы человек с положением, а завтра — никто. Сегодня вы преподаете в десяти школах, завтра — ни в одной... Так-то вот... Только имущество, только деньги надежны. Отец, мать, друзья-приятели, известность, почет — все это не стоит и гроша. Надо копить деньги, вещи. Эх, если бы я это знал несколько месяцев назад! Тогда деньги были. Да и теперь — разве молодому сильному мужчине трудно добыть деньги? Если вы купите дом, я эти ваши комнаты сдам в аренду. Будете жить-поживать, проедать эти деньги и писать свои книги. Сорахон научится сама вести хозяйство. А сестру вашу мы оставим тут. Я сам буду за ней ухаживать.

— Но сейчас ведь у нас нет денег? — сказал Саиди.

— Денег нет. Верно, денег сейчас нет. Но, если сидеть сложа руки, дом уплывет от нас. Через три дня и за тысячу рублей найдется покупатель. Деньги можно достать. У Якубджана всегда найдется три-четыре тысячи. Мне он может и не дать. А если вы попросите, он даст. Просите тысячи полторы, — даст бог, месяца через два рассчитаетесь.

— А если у Мухаммедраджаба по-хорошему попросить проценты с тех денег, что мы ему давали? — сказал Саиди, но потом сам рассмеялся — так это показалось ему невероятным.

А Мурадходжа-домла решил воспользоваться моментом, чтоб сказать Саиди об аресте Мухтархана и заронить ему в душу мысль о Мунисхон.

— Мухаммедраджаб сейчас ни гроша не даст. Я вам еще не говорил: Хайдар-хаджи хотел добиться, чтобы дети вашей сестры были объявлены наследниками Мухаммедраджаба. Но из этого ничего не вышло. Все это зависело от Мухтархана. Но есть слух, что Мухтархан арестован на афганской границе.

Саиди так и подскочил от изумления.

— Арестован! Почему? А что же мы теперь будем делать?

— Понятно, почему. Так как ни в Оше, ни в Узгене ничего не вышло, его послали в Гиссар и Куляб. Там его и взяли.

— Но его арест грозит нам чем-нибудь?

— Конечно. Но мы верим, что Мухтархан будет молчать. Плохо, что в такой горячий момент мы потеряли активного работника. Вы понимаете, какой сейчас острый момент? Проведение пятилетнего плана не может не вызвать волнений на селе и в городе. Мухтархан незаменим в такое время в кишлаках.

— А какие же могут быть в городе волнения?

— Уже и сейчас идут разговоры. По сравнению с прошлым годом, частная торговля почти задушена. Увеличены налоги. Налог съедает торговца. Разве это не рождает недовольства? Вот эти голоса недовольных по всей стране и подымут шум.

XXII

Деньги нашлись. Дом был куплен. Кое-как отремонтировав его, Саиди переехал от Мурадходжи-домлы.

Домла настоял, чтобы купленный дом был записан

на имя Сорахон. А в комнаты, где прежде жил Саиди он пустил квартирантов.

Но к концу осени надежды домлы на прибыль от квартирантов сразу развеялись. В городе был жилищный кризис, в связи с чем вздорожала плата за комнаты в частных домах — вместо восьми рублей теперь запрашивали уже двадцать. Тогда городской совет ввел таксу для сдаваемых частниками квартир. И домла, который рассчитывал основательно пожить от своих квартирантов, думая заработать тысячи четыре в год, теперь должен был поневоле подчиниться таксе, что уменьшило его доход втрое. Не успел он пережить это огорчение, как узнал еще более страшную новость: по пятилетнему плану, на месте теперешнего галантерейного ряда будет построена большая фабрика, от нее к станции должна быть проведена широкая асфальтированная дорога. Если это осуществится, дом Мурадходжи-домлы будет снесен со всеми дворовыми постройками и садом.

Для домлы настали тяжелые дни. Он места себе не находил ни дома, ни в городе. Не помогало ни вино, ни молитвы о «ниспослании гибели тиранам». В припадке ярости он метлой так избил собственную козу, что она сдохла. «Сладкоголосый соловей» теперь беспрерывно ворчала, ругалась, проклинала все и всех, если хватало сил, дралась, а от бессилия плакала.

Настроение других членов организации было не лучше, чем у Мурадходжи-домлы.

Якубджан однажды ночью поджег чердак магазина «Узбекторг» и рассказывал об этом друзьям, торжествуя, как будто отомстил врагу. Махмуджан-эффенди стал словно не в себе: кого ни встретит, всем рассказывает, что получил письмо из комиссариата просвещения соседней республики, в котором сказано: «Вы — отец всей восточной литературы. Вы нам нужны», а он будто бы ответил: «Никуда не поеду. Пусть мой прах останется в земле моей родины». Но, когда он и на собрании организации стал повторять свой рассказ, Аббасхан грубо оборвал его, не в силах сдержать раздражения.

Между тем число членов гапа, организованного Якубджаном, выросло уже до тринадцати. Один из членов сумел организовать новый гап. Собрание группы «старших» происходило по четвергам в доме кого-нибудь из членов. В последнее время основным вопросом, обсуждавшимся на этих собраниях, было задание центра: во что бы то ни стало расширить организацию. Каждый раз обсужда-

лось, кого можно привлечь в гал, но всякий, кто брал слово, невольно отклонялся в сторону, начинал жаловаться на тяжелые обстоятельства, на притеснения властей.

Мурадходжа-домла даже рассердился:

— Вы все толкуете только о своих горестях. Не у вас одного эти трудности, весь народ страдает. Говорите же не о бедах, а как от них избавиться! Мы здесь собрались не для того, чтобы жаловаться да причитать. Каждый из нас — сторонник великой цели. А у вас только пустая болтовня!

Но и взявший слово после домлы долго рассуждая о том, какой налог платили при царе Николае садоводы, купцы, землевладельцы — и сколько платят сейчас. «Советская власть, — утверждал он, — только провозглашает, что каждый человек живет за счет своего труда, но на самом деле придерживается другой политики: труд купца она не считает трудом, а ведь ему приходится с утра до вечера сидеть в лавке — это можно сравнить только с работой шахтера в угольных копях...»

Вот так и проходили эти собрания.

Мурадходжа-домла был вконец расстроен и озабочен. Раньше нехватка жилья в городе была для него выгодна, теперь же от нее было только вред. К тому же на днях техник-землемер, ходивший по улице с нивелиром и делавший расчеты, поставил на воротах домлы красный крест. По сообщению областной газеты через два месяца будут сносить галантерейный ряд, а весной начнутся и дорожные работы. В каждом номере газеты теперь печатались материалы по благоустройству города. Мурадходжа-домла написал было статью о том, что дорога, которую собираются проложить от галантерейного ряда на станцию, «не отвечает интересам трудящихся», но газета статью эту не напечатала. Домла встречался с разными «знающими» людьми, советовался с ними, выяснял, какую компенсацию за снесенный дом и постройки выплатят ему городские власти. Больше всего ему пришелся по душе совет — увеличить состав семьи, живущей в доме, чтобы при сносе дома потребовать от казны землю для всех членов семьи. Домла решил перевести Саиди к себе обратно.

XXIII

Осенью Саиди поспешил уехать из дома Мурадходжи-домлы, потому что, как ему казалось, ведя самостоятельную жизнь, он будет трудиться для себя, снова узнает

радость творчества, успокоится и почувствует себя счастливым. Но, переехав, он вдруг очутился в положении человека, попавшего в чужой город, заблудившегося темной ночью в его переулках и потерявшего всякую надежду выбраться на дорогу. Вместо радости творчества он узнал только горечь воспоминаний о том времени, когда будущее казалось ему светлей настоящего, когда «завтра обещало больше, чем давало сегодня». А сегодня, сейчас, когда завтра было полно опасностей, ему вдруг мучительно захотелось услышать вновь голос Мунисхон, произносящей ласково: «Рахимджан». Ему казалось, что только она одна могла утешить его, дать отдохнуть от тягот жизни, забыться от постоянного ожидания грозящей опасности. Вновь вспыхнувшее чувство к Мунисхон было только желанием отвлечься, забыться, — а он по-прежнему думал, что это все та же чистая и светлая влюбленность студенческой юности, и удивился, что Мунисхон своей теперешней испорченностью не могла потушить ее.

А Мунисхон упорно не желала с ним разговаривать. Несколько раз он встречал ее на улице, пытался остановить, заговорить, но всякий раз она отворачивалась и ускользала, даже не взглянув на него. И, может быть, это больше всего угнетало Саиди, отнимало у него всякое желание жить.

А потом он узнал, что Мунисхон застрелилась. Причина самоубийства была неизвестна, и Саиди так и не понял, как и другие, почему она покончила с собой.

Вечером в тот день Мунисхон вместе с семьей сидела за столом, а потом вдруг спустилась в кладовую, в подвал. Тетка ее, видевшая, как она открывала дверь, крикнула ей: «Зачем ты туда, бедняжка? Там темно»; — но она ничего не ответила и скрылась в подвале. А минут через пятнадцать раздался выстрел. Салимхан, как услышал выстрел, тотчас схватился за свою кобуру, которую вешал обычно на гвоздь в своей комнате: револьвера не было. Не ожидая несчастья, он даже выругался: «Вот вздумала чем играть!» — а когда спустился в подвал, увидел сестру уже мертвой. Мунисхон лежала в конце кладовки, положив голову на кучу грязного белья. В рот она почему-то засунула шелковый платок. А на своем рабочем столе Салимхан потом нашел письмо:

«До нынешнего дня мне ничего другого не оставалось, как лить слезы. Лила бы их и в будущем — всю жизнь. Я взяла карандаш, чтобы написать: «Матери, рожающие

девочек, зарывайте их заживо в землю, чтобы на том свете они не проклинали вас». Но тут я услышала смех счастливых женщин. Нет, пусть только матери, рождающие таких, как Мунисхон, хоронят их. Мир полон счастья, только я была несчастна».

И больше ни слова. Те, кто знал об аресте Мухтархана, думали, что она застрелилась, потеряв надежду на его возвращение. Но потом стало известно, что она ничего не знала об его аресте, а если бы и узнала, то только порадовалась бы. Салимхан и его друзья объясняли все несчастным случаем: будто бы Мунисхон не знала, что револьвер заряжен, и нечаянно нажала на курок.

Пуля, погубившая Мунисхон, выбила из-под ног Саиди последнюю опору, за которую он мечтал ухватиться, чтобы сохранить жизнь. Эта пуля оборвала последнюю нить, связывающую его с прошлым, с юностью, с надеждами на счастье и славу. Теперь, думая о своем будущем, он молил: «Боже, пусть все скорее пройдет, как сон».

Саиди теперь жалел, что уехал от Мурадходжи-домлы.

Он опять впал в то состояние, какое испытал когда-то, когда предал ради Ильхама комсомольца Тешу, и стал бояться проходить через рабфаковский зал университета. Тогда ему казалось, что из всех углов глядят на него комсомольцы и каждый встречный, вся улица, весь город говорит, обращаясь к нему: «А ну, пожалуйста на собрание, вас ждут!» Он редко выходил на улицу, а возвращаясь — спешил, будто кто гнался за ним, и, входя в дом, запирали дверь на цепочку, словно спасаясь от кого-то, кто мог ворваться следом за ним. В такие минуты старый дом Мурадходжи-домлы казался ему надежным убежищем, неприступной крепостью.

— Не знаю, сколько мне еще осталось дней прожить, — сказал домла, когда Саиди пришел навестить его. — Сами понимаете, какое время настало... Человек может сохранить только то имущество, что он держит в руках. Вот с весны будут проводить дорогу — дом снесут, а земли выделяют нам столько, сколько человек живет в доме. Я теперь, может быть, оттого, что стар стал, потерял интерес к имуществу. Вот дом, вот участок, вот земля — берите все, делайте, что хотите. Что мне теперь надо? Саван да поминки для добрых людей после моих похорон, — вот и все. А теперь я признаюсь вам: еще до постройки дома я купил тринадцать танапов земли. По некоторым причинам я не хотел вам этого говорить...

Действительно, домла купил тогда землю по секрету от Саиди. И не собирался ему говорить об этом никогда.

Услышав про землю, Саиди сначала обрадовался, потом опять его охватило привычное беспокойство. Но все же он решил так: сдаст в аренду новый дом, переедет опять к домле, а после того, как свершится переворот (по мнению руководителей движения, это должно непременно случиться еще до весны), он станет жить на доход с этой земли и всецело отдастся литературе. А свои книги он сможет печатать за границей.

XXIV

По поручению организации домла ходил к одному человеку, который лет десять назад был учителем, а теперь занимался спекуляцией, хотел «прощупать» его, но вернулся ни с чем, очень раздраженный. Он нашел Саиди во дворе: тот смотрел, как работник Астанкул с приездом чайрикером укладывали на крыше над воротами последнюю арбу привезенных с поля стеблей хлопчатника и джугары. Увидев домлу, Саиди, ни слова не говоря, направился к дому и у калитки пропустил тестя вперед.

— Ну и народ, не люди — звери! — сказал домла, входя в ичкари.

Но пока они не закрыли дверь в комнату домлы, Саиди молчал.

— Что это с вами? Отчего вы такой мрачный?

— Ничего... Ну, как ваши успехи? Поговорили с человеком? Тут без вас приходил Аббасхан...

— Так чего же вы молчите? Есть какие-нибудь новости?

— Ничего особенного...

Домла вспылил:

— Чего вы мямлите? Откуда мне знать, что у вас на уме? Что бы ни случилось — хорошее или плохое, — надо сразу сказать!

Домла так разозлился, что почти кричал на Саиди. Тогда тот сказал поспешно:

— Аббасхан заходил к Шарифу в горком и застал у него Салахиддина...

Салахиддин был тот старый учитель, которого изгнали из школы, а Якубджан устроил кассиром в редакцию газеты; теперь, когда новому редактору сообщили, кто его рекомендовал, его уволили и из редакции.

Домла несколько успокоился.

— Наверное, ходил жаловаться к Шарифу. Но в горькое с ним не станут церемониться, и он теперь разозлится. А почему вы так из-за него расстроились?

— Когда-то мы с Якубджаном пытались взять его в оборот. Я боюсь, что он мог рассказать Шарифу об этом. Как бы нам не было худо.

— Хуже того, что уже есть, не может быть. Что могут с нами сделать? Выгнать из города? Не думаю. Ну, а еще что?

— Мне показалось, что этот ваш чайрикер — хороший человек.

— Конечно, хороший. Чужого не берет, доволен тем, что у него есть, а когда нет ничего — тоже доволен. Бога боится к тому же...

— Вот я об этом и говорю. Это в нем и хорошо. Но он говорит, что на будущий год уже не будет засеивать нашу землю.

— А что же он будет делать, если не засеивать нашу землю? Куда же он денется? Или чью-то другую землю будет обрабатывать?

— Говорит, что вступит в колхоз.

— Значит, колхоз все-таки будет?

— По его словам — да.

Домла нахмурил брови и весь сморщился.

— Не люди — звери! — повторил он и вышел.

Когда через полчаса Сайди вышел во двор, он увидел домлу, который, сидя на ступеньке крыльца, уговаривал чайрикера.

— Мало ли, много ли, но эта земля вами арендована, ваша: что хотите, то и посеете. Захотите — посеете просо, захотите — мак. Эту землю вы обрабатывали сами, своим трудом. Другим землю дало государство, земля эта казенная — вот они и не боятся вступать в колхоз. Верьте мне: тот, кто привык сам распоряжаться землей, не пойдет в колхоз, хоть режь его!

Чайрикер сидел на земле, напротив домлы, и задумчиво ломал в руках какую-то палочку. Потом, сняв с головы тубетейку и выдергивая из нее разлохматившиеся нитки, заговорил:

— Господин домла, вот уж сколько лет я был вашим чайрикером. Почему же не посмотреть: что лучше — быть чайрикером или в колхозе? Говорят, баев в колхоз

не принимают, уж и это хорошо для бедняков. Говорят, Ахунбабаев сказал, что колхоз — это хорошо. А у этого человека мудрая голова на плечах. Ведь вот нас пугали земельной реформой. А он сказал: «Это хорошо». Так и вышло. И теперь, говорят, Ахунбабаев сказал: «Будете работать сообща, все вместе, на общей земле, а урожай поделите поровну». Пусть даже на первых порах решето будут делить! Говорят, государство даст трактор, Нет, люди, которые слушаются Советскую власть, живут неплохо.

— А разве, обрабатывая мою землю, вы плохо жили? Чайрикер усмехнулся:

— Не плохо, но и не хорошо. Ни шатко — ни валко... А жизнь-то ведь проходит...

Домла не сумел ничего ответить. В гневе он поднялся и ушел в дом.

Чайрикер тоже встал и хотел что-то сказать Астанкулу, но тут заговорил Саиди:

— Напрасно вы обидели домлу, ака. Неизвестно еще — будут ли колхозы, а вы можете оказаться в положении женщины, которая, понадеявшись на любовника, осталась без мужа...

— Нет, мулла-ака, я хочу дать отставку любовнику, чтобы выйти замуж, — сказал чайрикер и засмеялся.

Саиди тоже стал смеяться, но ответ чайрикера заставил его внутренне содрогнуться. Все окружающие Саиди люди — и рядовые члены организации и ее руководители не верили в успех коллективизации, утверждали, что колхозы не удержатся в кишлаках. Но, поговорив с чайрикером, Саиди вспомнил подготовку к земельной реформе. Тогда тоже предсказывали неудачу. Мурадходжа-домла говорил, что «земельная реформа разорит кишлак». Саиди тогда поехал в кишлак и увидел там совсем другое. Хотя была зима, в кишлаке было по-весеннему оживленно, как в дни начала пахоты и сева. Люди шутили, говорили громко, смеялись — и это веселое оживление создавало радостную атмосферу, противоречившую мрачным предсказаниям. А если и теперь мысль о «провале коллективизации» окажется такой же далекой от истины?

Слова чайрикера свидетельствовали, что действительность была совсем не такой, как представляли ее себе Саиди и его друзья. Саиди захотелось отправиться в киш-

лак и самому увидеть, что происходит, но он побоялся: «А вдруг чайрикер прав?!»

Но если это так, то для Саиди, который все время тешил себя ложными надеждами, — крушение всей жизни, конец.

Однако ведь тогда, во время земельной реформы, хотя он увидел в кишлаке не то, чего ждал, это не убило в нем желания писать — напротив, стало темой его ненаписанного романа, который мог принести ему славу. А что же теперь? Теперь, если он, приехав в кишлак, увидит, что люди охотно вступают в колхоз и настроение у них радостное, рухнет его последняя надежда на землю: уйдет из рук земля, все отнимет Советская власть...

Саиди вошел в свою комнату, сел в кресло у окна и взял книгу, лежавшую на столе. Он не собирался читать: самая мысль о том, что книги пишутся для того, чтобы их читали, была ему сейчас ненавистна. Но он вспомнил, как его отец любил гадать на книге. Когда дела шли плохо, он брал книгу, листал ее и с закрытыми глазами касался указательным пальцем какой-то строки. Если палец попадал на букву «у», он радовался — это значило «успех», если ж попадалась буква «п», — огорчился, значит, будет «помеха». Саиди попытался сделать то же. Но у отца гаданье получалось сразу, а у Саиди почему-то ничего не выходило. Он подумал: «Может быть, это потому, что я, в сущности, не верю?» — и попытался гадать с искренним желанием поверить. Целый час он бился, старался угадать свою судьбу и так жаждал веры в будущее, что даже вышел во двор, чтобы совершить омовение, как все правоверные.

А в ичкари слышалась брань домлы и плач «сладкоголосого соловья».

XXV

Через неделю из кишлака за домлой явился какой-то человек, и домла уехал с ним. Он решил передать землю, которую обрабатывал его прежний чайрикер, теперь пожелавший вступить в колхоз, кому-нибудь другому. Собирался пробыть в кишлаке дня три, а вернулся лишь на шестнадцатый день. Эти две недели его отсутствия Саиди провел в страшном беспокойстве.

Домла вернулся в таком виде, как будто путешествовал по Голодной степи: весь почернел, похудел, глаза ввалились; подбородок, обычно напоминавший вымя дойной

коровы, стал дряблым, как пузырь, из которого выпустили воздух; борода и усы отросли, на голове прибавилось седины.

Только кончиками пальцев он коснулся руки Саиди и молча ушел в дом. Саиди, который надеялся, что домла вернется радостный и довольный, сказал себе: «Ну, дело ясно!» Однако он еще пытался успокоить себя, хотел подробно расспросить домлу, но не решался пойти к нему. Наконец все же пошел. Домла сидел у себя в комнате на диване с разгневанным видом, а Сорахон плакала у окна. Саиди вошел на цыпочках и тихонько сел на стул около рабочего стола. Домла даже не взглянул на него и, обращаясь к дочери, крикнул: «Убирайся вон!»

Сорахон захныкала:

— Да что я такого сделала? Ни с того, ни с сего...

— Сколько раз я тебе говорил: не гляди в одну точку, вытаращив глаза, как корова! — сказал домла и обратился к Саиди: — Я ее о деле спрашиваю, а она вытупила глаза и смотрит, как корова! Разве прилично?

Саиди опустил голову. Сорахон ушла, всхлипывая.

— Народ в кишлаке зверем стал! — сказал домла.

Саиди вздрогнул и сказал про себя: «Ну, значит, все!»

— Это началось еще во время земельной реформы, — сказал домла. — Шум, споры, вражда... Я знаю, у меня есть опыт... Я тогда еще говорил... Политика такая, чтобы разжигать вражду, обострять борьбу... Кучка непросвещенных людей заправляет всем... Ничего святого нет...

— Значит, колхозы будут? — спросил Саиди слабым голосом.

— Когда я приехал, только тринадцать человек подали заявления, потом за неделю было подано еще несколько. Потом некоторые забрали свои заявления обратно. Ваш Кенджа там выпускает газету. И еще этот... Салахиддин... тоже там. Шариф его сделал заведующим школой. Где бы он ни показался, всегда говорит о колхозе. А люди собираются около него, слушают. Таким агитатором стал, оратор! Со всеми он как свой. С Кенджой — друзья.

— А с землей что? Нашли нового чайрикера? Или все хотят в колхоз?

— С землей дело, кажется, устроится. Все говорят: посмотрим, как пойдут дела с колхозом. Им и хочется в колхоз, но пока побанваются.

Вечером пришел Салимхан. Он был расстроен, еле сдерживался. Целый месяц он ездил по кишлакам. Боясь

услышать еще что-то неприятное, Саиди ушел к себе в комнату и больше не появлялся.

Салимхан прикурил новую папиросу от только что докуренной и посмотрел на домлу.

— На другой день после вашего отъезда органы ГПУ забрали из тюрьмы Ибрагимова.

— Какого Ибрагимова? — спросил домла испуганно.

— Народного судью Ибрагимова. Помните: по делу Мавлянкулова...

— Ну?

— Это неспроста. Если заключенного увозят из тюрьмы политические органы...

— Где Мирза Мухитдин?

— Он с Аббасом уехал в центр.

— Зачем же понадобилось политическим органам увозить из тюрьмы Ибрагимова?

— По-моему, что-то стало известно об этом деле, и через Ибрагимова надеются раскрыть многое. Вот его и взяли из тюрьмы, чтобы с ним ничего не случилось.

— В таком случае, значит...

И домла замолчал.

Кто-то постучал у входной двери. Домла посмотрел на Салимхана, Салимхан на домлу.

— Кто это может быть?

Салимхан пожал плечами.

— Выйдите, посмотрите...

Домла вышел. Оказалось, пришел Якубджан.

— Вот бестолковый! — сказал домла, вводя Якубджана в комнату. — Кажется, на дверях есть кольца... зачем же так долбить в дверь?

— А что делать? — сказал Якубджан, садясь рядом с Салимханом. — Буду ли я звенеть кольцами или проломаю дверь, — все равно не сегодня завтра придется вам идти впереди четырех солдат.

Домла взглянул на него хмуро, Салимхан вспыхнул: — Ох, Якубджан, до чего же вы равнодушный, холодный человек! Как можно так говорить?

— А если у меня весть прямо с мороза, как я ее согрею?

— Что еще случилось?

— Мирза Мухитдин и Аббасхан арестованы. Приехал человек из центра!

Домла вскрикнул и схватился за Якубджана со словами: «Спаси нас бог!»

Салимхан побледнел и прислонился к стене.

Саиди об этом ничего не знал, он в тот день больше не видел домлу. Утром за чаем старуха сказала, что домла поздно ночью куда-то уехал ночным поездом. Саиди хотел было приняться за давно заброшенные переводы, ушел к себе, но, увидев на столе бумаги, вдруг почувствовал себя бесконечно усталым, совершенно неспособным к какой-то умственной работе. Он сел у окна в кресло и закурил. Ему было трудно не только работать, но даже поднять руку, чтобы стряхнуть пепел с папиросы.

Закинув голову назад и глядя в потолок, он старался ни о чем не думать. Но тут же явилась мысль: как сделать так, чтоб не думать, не думать ни о чем! А за ней нахлынули другие мысли, и все перепуталось у него в голове. В ушах зазвенело. И в путанице мыслей он вдруг ясно услышал прочитанные когда-то строки:

Мы пьем из чаши бытия, —

С открытыми глазами,

Златые омочив края,

Своими же слезами.

Саиди вскочил и стал искать книгу, в которой он это прочел, вспомнил, нашел книгу, прочел все стихотворение, — оно было очень коротким. Он стал искать другие стихи, по названиям стараясь определить их содержание. Но даже перелистывать книгу ему было сейчас трудно. «Господи, — сказал он, бросая книгу, — откуда люди берут столько слов, чтобы написать все это!»

Вошла Сорахон. Ей показалось, что Саиди заболел.

— Что случилось? — спросила она, равнодушно жуя что-то.

После долгого молчания Саиди сказал:

— Кажется, я устал жить...

— Отчего же вы так устали? Вы ведь ничего не делаете... Ну, ладно уж, ложитесь, отдыхайте...

Саиди знал, что Сорахон не поймет его, но ему лень было объяснить ей другими, более доступными для ее понимания словами.

Сорахон, продолжая жевать, что-то поискала в комнате и ушла.

Весь этот день Саиди провалялся в постели в подавленном состоянии. Утром, проснувшись, долго лежал с закрытыми глазами. А когда открыл глаза, увидел на

тумбочке у кровати свою тюбетейку, и у него было странное ощущение, словно он увидел одежду только что умершего человека. И такое чувство вызывало у Саиди все, начиная с вещей в доме и кончая дувалом, окружающим сад. Это чувство росло и крепло, и порой Саиди начинал даже сомневаться: жив ли он.

Случайно он забрел к сестре, которая уже с осени не вставала с постели. Ноги у нее отнялись совсем, когда началось несчастье. Увидев брата, который давно не заходил к ней, она заплакала.

— Что же мне делать, Рахимджан, если уж бог меня создал такой несчастной... Никуда я не похожу... скажи невестке — пусть согреть мне отрубей... Когда же бог заберет меня?

— Ладно, она согреть тебе отрубей. Не умирай. Пусть ноги твои поправятся. Гуляй себе по этой несчастной земле... Пусть в мире прольется еще одна чаша слез...

Сестра не вслушивалась в его слова и не поняла их. А Саиди, едва выйдя от сестры, забыл про ее просьбу, ушел в сад и долго ходил там, несмотря на снег и мороз. Когда он, наконец, остановился, опомнившись, то увидел, что стоит, прижавшись к дереву, у которого обрублена верхушка. Шел снег, падал крупными хлопьями.

Саиди теперь еще больше избегал людей и разговаривал вслух сам с собой. Теща решила, что он сходит с ума. Мурадходжа-домла, вернувшийся через несколько дней, поговорив с Саиди, согласился с женой. «Это у него наследственное, — сказал домла, — отец его тоже сошел с ума и повесился». Впрочем, домле было не до него. Беседовать с Саиди у него не было ни желания, ни времени.

XXVII

Все казалось теперь теще странным в Саиди: как он дышит, как глотает чай, как смотрит. С каждым днем с ним было все труднее, и старуха боялась, что он натворит что-нибудь, изувечит ее дочь. Своими опасениями она поделилась с домлой, сильно их преувеличив. Домла начал хлопотать, чтобы поместить Саиди в больницу.

Дня через два пришла к ним русская женщина с портфелем в руках. Домла подумал, что это — врач, встретил ее почтительно и стал объяснять, что у зятя, очевидно, наследственная болезнь.

— У него отец был душевнобольным и мать — тоже.

Теперь и он сам становится таким... — говорил он, провожая женщину в дом. — Каждый день моей кызымке маклаш дает...

Женщина не поняла его, вынула из портфеля какую-то бумагу, показала домле и что-то стала объяснять. Из ее слов домла понял только «Тупа» и «деньги» и удивился.

— Тупа нет, — сказал он, стараясь жестами пояснить свои слова. — Тупа ушла. Это Рахимджан Саиди больной... Ему двадцать шесть лет.

Они никак не могли понять друг друга. Тогда женщина попыталась объяснить по-узбекски:

— Тупу знаешь?

— Да, знаю. Она ушла от нас. Не она душевнобольная.

— Деньги за нее даешь?

Домла вытаращил глаза.

— Э, зачем деньги? Какие деньги? — сказал он и закричал: — Сорахон, позови Рахимджана!

Саиди вышел вялый, сонный и присел у двери.

— Узнайте, кто она и что ей нужно? — сказал домла.

Женщина показала Саиди бумагу и объяснила:

— Этот человек семь лет держал работницу по имени Тупа и ничего ей не платил. Я пришла выяснять это...

С тех пор как Тупу увезли в больницу, никто в доме даже не вспоминал о ней, считали, что она уже умерла. Саиди удивился:

— А где же она теперь?

— У нас. Работает в артели...

— Ну что, в чем дело? — спросил домла, у которого уже испортилось настроение.

— Тупа требует от вас плату за работу в вашем доме — за все семь лет. Прислала вот эту женщину.

— Э-э, какая может быть плата? Семь лет мы ее содержали, давали ей приют, чтобы бедняжка не была бездомной бродягой, оказывали ей милосердие... Объясните это...

Саиди поговорил с женщиной и сказал домле:

— Очень трудно это объяснить. Непонятно...

Домла сказал, подумав:

— Ну, а если она и работала, так ведь мы ее кормили, одевали. Когда она заболела, работать не могла, мы ее все-таки кормили. Она толком и делать-то ничего не умела... А сколько же ей причитается?

— По подсчетам этой женщины выходит: тысяча

двести шестьдесят рублей. И сюда еще не входят другие расходы, например, сто пятьдесят рублей на социальное страхование...

Домла посмотрел на женщину и сказал Саиди:

— Как же так, Рахимджан? Ведь это значит, тысячи полторы? А что если попробовать откупиться от нее? Ну-ка намеки ей... Сколько она возьмет с нас, чтобы потушить это дело?

Когда Саиди перевел слова домлы, женщина молча встала и ушла. Саиди тоже поплелся к себе. Оставшись один, домла лихорадочно стал придумывать новый план: он заплатит Тупе за два года, а все остальное свалит на Саиди, скажет: «Когда Саиди поселился у нас, Тупа работала на него. Он заставил ее работать на него». Если даже дело дойдет до суда, Саиди нельзя судить — он душевнобольной. Успокоив себя таким образом, домла ушел вечером на очередное собрание гапа.

Саиди, как обычно в последнее время, сидел у себя в комнате в кресле. Вошла теща. Саиди не хотелось никого видеть, и присутствие старухи вызывало в нем странную боль во всем теле.

— Интересно, зачем приходила эта женщина? — спросила старуха. — Домла мне не сказал. Я хотела его спросить, но он был так сердит, и я побоялась...

Саиди хотел поскорее от нее отделаться.

— Она должна домле деньги и пришла сказать, что не может сейчас вернуть долг.

Старуха успокоилась и, постояв немного у окна, сказала:

— Вьюга разыгралась... На крыше сорвало лист железа — так и гремит... Если б что-нибудь тяжелое положить...

Она подождала ответа, но Саиди молчал, и она, проворчав что-то, ушла, хлопнув дверью. Саиди вздохнул с облегчением, как будто у него из глаз выпала песчинка, мешавшая ему видеть. «О, глупая женщина, — сказал он, откинувшись на спинку кресла и закрыв глаза. — О чем беспокоишься? О том, что ветер сорвал железо с кровли? Какое это имеет значение, когда вьюга бушует по всей земле, когда ветер времени стучит во все дома и рвет все мечты и надежды?.. Оставь меня, я живу не для того, чтобы чинить крыши... Я не знаю, зачем я пришел в этот мир, и хочу только поскорее покинуть его».

Вдруг глаза у него раскрылись, ему стало ясно, что делать. Он и раньше не раз думал о самоубийстве, но

всегда два чувства боролись в нем — одно поддерживало эту мысль, другое говорило: «Ты еще так молод, ты только взял в руки чашу жизни, еще не вкусил всей сладости ее, зачем спешить?» Но сейчас это второе чувство молчало.

Сердце его вдруг забилося сильно. Он встал, зажег свет, походил по комнате, снова сел, закрыл глаза. И в душе его звучали слова: «Вот ты долго держал в руках чашу жизни, жадно пил из нее, и чем больше пил, тем больше чувствовал горечь. Довольно! На ярмарке жизни ты пытался добыть себе счастье дорогой ценой и прогорел. Теперь возвращайся, пока не поздно... Опоздаешь — тебя выгонят, как собаку. И чего тебе ждать? Какая разница — выпьешь ты еще глоток вина или сотню бутылок? Что найдется в мире такого, ради чего стоило бы прожить еще лишних три дня?! А если так, что же ты сидишь? Вставай, беги скорее!»

Он широко раскрыл глаза и увидел висевшее напротив зеркало в золоченой раме. Оно показалось ему необычайно красивым: вещь, о которой можно мечтать. Саиди тихо встал, взял со стола хрустальную вазу для цветов и движением, каким вонзают нож в сердце смертельного врага, ударил ею в самую середину зеркала. Зеркало разбилось, со звоном посыпались осколки, куски зеркального стекла повисли в золоченой раме.

Саиди вышел во двор. Вьюга бесилась снаружи, и непонятно было — летит ли снег сверху или снежные вихри поднимаются с земли, залепляя глаза, мешая видеть. Спускаясь с лестницы, Саиди поскользнулся и упал, а когда, поднимаясь, схватился за железные перила, почувствовал ледяной ожог, рука прилипла к железу. С трудом оторвал он руку и по колено в снегу стал пробираться к воротам. Окно подвала, где лежала его сестра, слабо светилось, и Саиди, увидев этот свет, вспомнил, как она все время надеялась поправиться, хотела жить, — и это ее желание жить вызвало в нем теперь злость и ужас. Он готов был сейчас задушить ее, сломать ей больные ноги.

Где-то открылась дверь. Саиди заторопился и выбежал на улицу. На улице — тьма, не видно ни души. При каждом порыве ветра снежный вихрь подымался с земли и мешал идти. С трудом двигаясь, словно под водой, Саиди добрался до перекрестка. Он догадался, что это был перекресток, увидев освещенное окно магазина на углу. Высокое окно светилось ярко и освещало тротуар

перед ним и снег, кружившийся под ветром. Саиди перешел на другую сторону улицы и зашагал прочь от дома. от городских улиц. Он прошел почти два километра и очутился за городом на дороге к большому кладбищу. За кладбищем проходила железнодорожная линия. Падая и скользя, он обошел кладбище и вышел к железной дороге. Метрах в пятидесяти от линии шла дренажная канава, вырытая под насыпью. Саиди по пояс провалился в засыпанную снегом канаву. С большим трудом выбрался он из нее и шел дальше, падал и полз, зорко вглядываясь в темноту. Вдруг он увидел сложенные штабелем шпалы. Значит, железная дорога была рядом. Саиди вытащил две шпалы, сел на них и стал ждать поезда.

Долго ли ему пришлось ждать — он не знал. Вдруг вдали в темноте появилось светлое пятно. С каждой минутой оно становилось отчетливей и ярче.

Поезд!

Саиди встал и приготовился лечь на рельсы. Но в его воображении вмиг предстали светлые теплые купе вагонов, оживленно беседующие или мирно спящие пассажиры, в полутемных коридорах влюбленные, прильнувшие друг к другу, — и сердце его вдруг наполнилось жгучей звериной ненавистью. Эта дикая ненависть придала ему силы.

Поезд приближался. Саиди несколько раз мотнул головой в его сторону, как петух, примеривающийся, куда клюнуть соперника, схватил две шпалы и положил их на рельсы; торопясь, как будто его подстерегала смертельная опасность, взял еще одну шпалу и с силой бросил ее поперек пути.

Поезд надвигался стремительно. Саиди сошел с пути и бросился снова к штабелю шпал, взял еще одну, но в это время словно треснуло небо и упало на землю, раздавив все под собой. Земля задрожала, и Саиди со шпалой упал. Внезапно все стихло, и тишина эта была страшнее грохота. Саиди пополз прочь и укрылся в кустарнике. Что-то вдруг блеснуло и осветило на мгновение все вокруг. Саиди взглянул сквозь ветки кустарника, и ему показалось, что он увидел разбитую груды досок и кровь на снегу, от которой шел пар. И опять все погрузилось в темноту.

И как ненависть только что придала ему физическую силу, так теперь эта картина крушения, вид крови вернули ему силы душевные. Призывавший смерть, он те-

перь жаждал жизни. «Пусть сломан твой меч, но щит твой цел! Ты еще сможешь что-то сделать...»

Вдруг из тишины раздалось блеяние овец, рев быков, мычанье коров. Звуки шли как из-под земли, и Саиди в отчаянии понял, что то был товарный поезд, на котором везли на бойню скот.

Прошло довольно много времени, послышались людские голоса, возле свалившегося набок паровоза блеснул свет фонаря. Саиди испугался, выскочил из кустарника и побежал в ту сторону, откуда пришел поезд. Навстречу ему дул сильный ветер, в лицо бил густой снег, мешая идти, и Саиди двигался как во сне: из последних сил он пробежал метров двести и упал, пытался встать и не мог.

Ноги его одеревенели, он их не чувствовал больше. Он попытался ползти, но каждый порыв ветра заносил его снегом, и лишь с невероятным трудом он выползал из снежного сугроба.

Он полз и полз, пока не почувствовал, что у него онемели и руки, он больше не мог двигаться. И снег стал засыпать его. В последний раз Саиди рывком поднял голову, широко раскрыл глаза, посмотрел вокруг. В нескольких шагах от него горел костер. Мир, который еще несколько минут назад, казалось, весь состоял из ветра, снега и тьмы, вдруг исчез, остался лишь этот громадный, яркий, все разгоравшийся костер. Пламя его колебалось. Саиди потянулся к костру. Ветер снова повалил его и засыпал снегом. А костер не исчезал — ярко горящий, далеко рассыпавший искры! Но этот костер был только видением, ярким миражом, как и все в его жизни: любовь к Мунисхон, слава писателя, прекрасный дворец в долине и зеленое знамя, развевающееся над миром, — все это был мираж. Саиди чувствовал, что его замело снегом, что ледяной, сковавший все тело холод подступает уже к голове. Но он еще услышал мощный гудок паровоза, подходившего со стороны города, и потерял сознание.

1930—1934

Абдулла Каххар

МИРАЖ

Роман

Перевод с узбекского

Печатается по изданию: Абдулла Каххар. Избранные произведения в 3-х томах, том 3. Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма, Ташкент, 1974.

Редактор *В. Кива*

Художник *В. Жеребцов*

Художественный редактор *А. Кива*

Технический редактор *Т. Смирнова*

Корректор *Э. Джаббарходжаева*

ИБ №3538

Сдано в набор 27.05.86. Подписано в печать 20.11.86. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская №1 Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 10,92+0,42 вкл. Усл. кр.-оттисков 13,02 Уч.-изд.л. 12,05+0,61 вкл. Тираж 60000. Заказ №1916. Цена 95 к. Договор №52—86

Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма
700129, Ташкент, ул. Навои, 30.

ГП ТИПО «Матбуот» Государственного комитета УзССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. Ташкент — 700129, ул. Навои, 30.